

- ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПЕТУХА —  
новая книга Якова Цигельмана
- ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ —  
воспоминания очевидцев о процессе Синявского-Даниэля
- МОСАД, АМАН И ВСЕ ТАКОЕ —  
продолжение документальной повести об израильской разведке
- АПОЛОГИЯ МАРКСИЗМА —  
размышления М. Хейфеца о книге "Номенклатура"
- МИР МУЖСКИХ ФАНТАЗИЙ —  
порнография в свете социобиологии

46

22

№ 46

МИР МУЖСКИХ ФАНТАЗИЙ

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.  
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год.

---

Год издания VIII

№ 46

январь-март 1986

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| АЛЕКСЕЙ МАГАРИК. Стихи . . . . .                    | 3  |
| КИРИЛЛ ТЫНТАРЕВ. Рассказы . . . . .                 | 5  |
| АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. Из книги "Биография" . . . . .    | 33 |
| ВЛАДИМИР МАТЛИН. Взрыв в Орли. . . . .              | 37 |
| МИРИАМ ОРЕН. Стихи. . . . .                         | 42 |
| ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. Приключения желтого петуха. . . . . | 44 |
| ЮЛИЯ ВИНЕР. Песнь о деньгах. . . . .                | 83 |

### ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| РАФАИЛ БЛЕХМАН. Мосад, Аман и все такое (продолжение) . . . . . | 92 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| НИНА ВОРОНЕЛЬ, МАРК АЗБЕЛЬ, АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ<br>Двадцать лет спустя (воспоминания о процессе Синявского-<br>Даниэля) . . . . . | 132 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### РУССКИЙ ВОПРОС

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Апология марксизма. . . . . | 178 |
|--------------------------------------------|-----|

### НАУКА

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ДЖОЗЕФ ШЕФЕР, ЮДИТ РАЙЗМАН. Порнография: попытка<br>социобиологического объяснения (перевод и обработка<br>Р. Нудельмана) . . . . . | 201 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## ИСКУССТВО

ЭДУАРД БАРК — художник и поэт . . . . . 209

## люди и книги

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. Эффективный герой . . . . . 219

ГЕННАДИЙ ВАЛЬДБЕРГ. Истоки жанра . . . . . 221

МИХАИЛ ВАРТБУРГ. Фантастические повести Геннадия  
Вальдберга . . . . . 222

*На последней странице обложки: А. и М. Синявские, Ю. Даниэль и Л. Богораз (к статье "Двадцать лет спустя", стр. 132).*

---

**главный редактор — Рафаил Нудельман**

**Редакционная коллегия:**

**В. Богуславский**

**А. Воронель**

**Н. Воронель**

**Э. Кузнецов**

**Ю. Меклер**

**Н. Рубинштейн**

**М. Хейфец**

**Я. Цигельман**

**И. Чаплина**

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор

технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:  
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

**Телефон редакции — 03/394525**

## ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

## ЛИТЕРАТУРА

*Алексей Магарик (Москва)*

14 марта 1986 года в Тбилиси был арестован еще один из еврейских активистов — Алексей Магарик, 28-летний скрипач, вместе с женой находящийся в "отказе" с 1983 года. Как и в случае с Ю. Эдельштейном, власти инкриминируют ему распространение наркотиков. Алексей Магарик — талантливый поэт и исполнитель еврейских песен, человек, предельно далекий от всякой "уголовщины". Сфабрикованное против него "дело" показывает, что кампания расправы с еврейскими активистами в СССР и устрашения советских евреев, стремящихся выехать в Израиль, продолжается. Будем надеяться, что вмешательство еврейских организаций и всех людей доброй воли в свободном мире защитит Алексея Магарика от судебного произвола советских властей.



израиль знает свой экзодус  
ему астролог не совет  
подкатит рейсовый автобус  
водитель двери отопрет  
железный конь, поняв движенья  
педалей, рычагов, сплетенья, —  
умчится прочь но из дверей  
на землю выпрыгнет еврей  
он поглядит светло без страха  
на родины бесплатный пляж  
и запоем как отче наш  
блатные песни карлебаха

и я бы пеп но не шутя  
я умер бедное дитя

В педагогической неволе  
Таким я вырос навсегда:  
Очки (их били в средней школе) ,  
Нос, рот, усы и борода.  
Иду я улицей столичной:  
Универсам звенит "Столичной",  
Октябрь лист клена золотит,  
И тот в Канаду знай летит.  
Ничто отказнику не мило —  
Звучит ли Моцарта квартет,  
Жидов ли пишет комитет,  
На все взираю я уныло;  
Что буря мне, что мертвый штиль —  
Хочу я, братцы, в Израиль!

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ИМЕНИ Р. Н. ЭТТИНГЕР ИЗВЕЩАЕТ О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ 1985 ГОДА.

ПРЕМИЯМИ УДОСТОЕНЫ: 1. ФРИМА ГУРФИНКЕЛЬ (ИЕРУСАЛИМ) — ЗА ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТОРЫ С КОММЕНТАРИЯМИ РАШИ; 2. ИЗРАИЛЬСКОЕ ФОРТЕПИАННОЕ ТРИО (ТЕЛЬ-АВИВ) В СОСТАВЕ АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ (ФОРТЕПИАНО), МЕНАХЕМ БРОЕР (СКРИПКА), МАРСЕЛЬ БЕРГМАН (ВИОЛОНЧЕЛЬ); 3. ПОЭТ ЛЕОНИД ИОФФЕ (ИЕРУСАЛИМ).

ВЕЛИЧИНА КАЖДОЙ ПРЕМИИ 1500 ДОЛЛАРОВ.

## МАДЖНУН

Ежегодные потоки проносятся по ущельям, снося прах в полное маслянистой жидкости, клубящееся испарениями Мертвое море.

Они прочищают русло и выгоняют из расположенных низко летних нор буро-золотистых дамманов с глазами игрушечного медведя.

Они брызжут водопадами и откладывают на стенках слой за слоем известь, поят птиц, и кусты, и незримых оленей, легких, как тени, или облака на закатном небе.

А олени исчезают, и никто не знает, где их дом.

Так и душа моя следит очами за своими оленями, и не настигает их, и не знает, где их дом; безоружна она и не расставляет силков.

Память моя подобна известковым руслам, и потоки наносят ее слой за слоем. Которая сейчас война?

Ибо я родился в Эмек-а-Хесед, Долине Милосердия, и суди нас Создатель не по милосердию, но по суду, ни мгновения не устоял бы мир...

*Кирилл Тынтарев*

Вы знаете, как подают нищим? Как этот "хареди"\* подал Ашеру

---

\* хареди (иврит) — (Бого-) боязненный, самоназвание строго ортодоксальных религиозных евреев.

спичку. Белая рука, обтянутая черным рукавом, совершила отдельное от тела странствие и вернулась, так что определенно ничего не произошло, и этот парень в ковбойке с серыми глазами и высокими скулами так и не возник из небытия.

Ту-ту, весенний поезд, беглый поезд, небывалый поезд в Эмек-Рефаим, сосны, оливы вокруг террасы лиловых цикламенов, а ветер метет по полу вагона невесомую пыль. Никто сейчас не ездит на поездах, — или почти никто.

Губы доса\* сложены в трубочку, он оглаживает бороду и что-то бормочет, то ли псалмы, то ли репетирует какую-то предстоящую встречу. У Ашера волосы ежиком, глаза ненавидящие.

— Рабби, а, рабби, а правда, в Ташмад\*\* будет мировая война? Дос качает головой, едва заметно. Или мне почудилось?

— Рабби, а что будет? — нехорошая улыбка у него, у Ашера.

— Ничего не будет, — фраза, не оставляющая эха, лопается, точно орех под многотонным прессом, и лапсердак поворачивается спиной — к Ашеру, к проходу, ко мне, лицом — к окну.

— А чего тогда в газетах пишут, а? — заходится парень. — Ты, небось, всю Тору наизусть знаешь, так скажи, руку на сердце, святой рабби!

“Рабби” встает, пальцы его скрючены вокруг тугой петли, в которую никак не проходит пуговица лапсердака. Перешагнув вытянутые ноги Ашера, он уходит в дальний конец вагона.

— Кусс охтак!\*\*\* — кричит Ашер. — Ашкенази вонючий!

Он беспокойно оглядывается. Лицо его желто-серого цвета, покрыто двухдневной щетиной.

— Где Малка? — обращается он ко мне. — Ты не видел Малку с Дани? Да... Он туда заполз, — Ашер наклоняется под сиденье, — он уже ходит... А Малка ушла за продуктами. Дани уже десять лет. Скоро бар-мицва. Хочешь сигарету? — Он достает из заднего кармана брюк, приподнявшись, пачку “Кента” и протягивает ее ко мне. На пачке нет голубой пошлинной наклейки — контрабанда из Ливана. В этом году все курят ливанский “Кент”.

---

\* дос, доси (иврит) — религиозный (уст. произношение) — народное название для хареди.

\*\* Ташмад — чтение 5744 (1983/1984) года в буквенной записи означает “уничтожишь”.

\*\*\* Кусс охтак (араб.) — вошедшее в иврит непечатное ругательство.

— Спасибо. Ты был в Ливане?

— Мама твоя была в Ливане. А я свое давно отливал.

Я не отвечаю. Сейчас развелось много антивоенных организаций, "Есть предел", "Комитет против ливанской войны", "Долой медаль"... много просто психопатов.

— Я ничего не помню, знаешь? Может, ты брат мой, а я тебя не помню. Ты откуда?

— Из Кирьят-Арба.

— А я думал, ты из Эмек-а-Хессед. У тебя лицо знакомое.

(А олени исчезают, и никто не знает, где их дом)

Мне кажется, что я уже вел этот разговор, липкий, тяжелый, ни о чем разговор, от которого появляется серый туман и весенний лес превращается в тесный туннель. Упаси нас судьба, от этих полупустых вагонов и от сумасшедших, которым некуда ехать, которым этот праздничный лес вокруг — могила, пронизанная дренажами Национального фонда, выпивающими из источников воду, чтобы раздать ее пайками низкорослым, плотно посаженным соснам, — ведь есть же автостреды, по которым ездят разноцветные машины, а в машинах — радио, и, если в тебе начинает говорить незнакомый голос, можно подивиться диапазону Хавы Альберштейн на кассете, а еще лучше — вовсе не покидать городов, а в городах — торговых улиц, супермаркетов, банков, кинотеатров, ведь они — твоя отчизна, а еще ешива или военная база, кибуц или университет. А еще больше твоя отчизна, читатель, — это аэропорт в Лоде, где снаряженный элегантным темно-синим паспортом, ты проходишь сквозь врата, и на другом конце света уже не сомневаешься в доподлинности твоей отчизны, в л а д е ю щ е й всеми языками, сектами и пророками, тысячелетиями жившими на этой земле, а теперь отступившими перед нашими войсками за Шуфские и Моавские горы, но вглубь, на два лишь метра под фундамент твоего дома, стоящего на земле Национального фонда. И когда ты спишь в парижском или гонконгском отеле, сон твой куда спокойнее, чем на белом камне и красной земле, про которую написано в Библии, что она твоя.

Когда ему было девятнадцать, его бронетранспортер подорвался на mine, и Ашера сбросило в Ярмук. Три дня и три ночи пролежал он в воде с переломанными костями, но его нашли. Он лежал в больнице несколько месяцев, числясь пропавшим без вести — пока

не сличили списки — и вспоминал. Отец водил тяжелые грузовики и появлялся дома только по субботам. Иногда привозил раковины из Эйлата или бедуинские украшения из Беер-Шевы. Он спал. Он очень много спал, только в субботу они выходили на обсаженную эвкалиптами Аллею Сионизма: Гади в коляске, Тами у мамы за руку, а Ашер — сам, позже Ашер уезжал с друзьями на велосипеде, а отец садился в саду играть в шеш-беш с соседом, толстым Аврамом, за столом при свете голой лампочки. Ашер вспоминал липкий сок граната прямо с дерева, в душный осенний день, когда тяжелые облака, точно вата, ползли над Эмек-а-Хессед, еще не проливаясь дождем. Школа вспоминалась сама: английское "when", которое он путал с арабским, означающим не "когда", а "где", имена Бялика, Толстого и Софокла, одинаково напоминавшие о круглом лице учителя литературы, похожем на крепкий зад. Дважды два было определено четыре, но с некоторым высокомерием белой расы, и смурные, затурканные ученики из Шхунат-Кедари, которые не могли похвастаться происхождением из Польши или Румынии, относились к таблице умножения с недоверием. В том же, что царь Давид объединил отечество, сомнений не было, как и в том, что жевание резинки на уроке означает сигарету, выкуренную на перемене в уборной. Два года Ашер оставался единственным в классе, кто уже утратил невинность, но это не принесло ему почета. Это была сорокалетняя соседка Ализа с черными с проседью волосами, которой он занес долг по поручению матери. Следующей была Малка, которую считали гулящей, у Малки была длинная коса и короткие ноги, Ашер пригласил ее в кино, и они сидели молча, не двигаясь и не дыша, и потом незаметно сдружились — против всех на свете. Дожди налетали на Эмек-а-Хессед незаметно, и уже нельзя было перейти улицу без высоких сапог, такой силы потоки мчались по асфальту. В субботу, если внезапно кончались семечки после обеда, приходилось отправляться на Кикар-а-Пальмах, где с четырех открывался киоск Шуки Надива. Жизнь никогда не давала Ашеру выбирать: или бери, что есть, или не бери вовсе: школу, Малку, Ализу, городишко на окраине еврейского государства, фильм в единственном кинотеатре. Последний год перед армией работал на заводе газированных напитков, деньги приносил домой, часть, боясь попросить приличную долю, утаивал от родителей. Хотел съездить с Малкой в Тверию, но ее не пустили. Со злости она перешла к нему жить и вскоре, как потом выяснилось, забеременела. В армии он был механиком, хотя просился в десант, уходил в само-

волки, лаялся со старшиной. К началу войны он был в чине ефрейтора и имел три месяца "табана"\* . Ашер Лугаси пропал на северном фронте 13 октября 1973 года и был обнаружен в декабре, в больнице. Назавтра приехала Малка и родители, Йоси, Гади, Тами, дяди, тетки, родственники и знакомые — всего человек сорок. Ашер лежал лицом в матрас и не отвечал.

В Акко шел дождь. Он смывал штукатурку со стен, просачивался сквозь плиты мостовых, рябил море и хлестал бесконечными пощечинами маяк. Тучи, точно провисший матрас, свешивали в море клочья тумана. От холода и моросни, которую забрасывал ветер в самые узкие щели, Ашер и Андре были отделены только запотелыми стеклами рыбного ресторана. Они сегодня собирались попробовать некошерного омара, но все было закрыто из-за плохой погоды, и омара простыл и след. Они заказали по коньяку, потом еще раз по коньяку, дожидаясь, пока хозяин в феске не принесет им золотистых рыб с хрустящей корочкой, окруженных зеленью и ломтиками лимона.

— Я слышал, что ты перестал заниматься английским, — сказал Андре. Ему было лет двадцать семь, на нем был вязаный армейский свитер с дырками на локтях и очки в пластиковой оправе.

— Ты бы свитер поменял на складе. Еще офицер называешься.

— Это без важности, — сказал Андре на своем скверном румынском иврите. — Сара починит.

Ашер усмехнулся. Странная Сара. После рабочего дня в центре реабилитации раненых Андре брал Ашера в машину ("спрячься под сиденье, а то часовой увидит"), и они ехали в Акко, в крепость, а жене докладывалось то о дежурстве, то о дорожной аварии.

— Так что с английским?

— Отпусти мою душу, — пробормотал Ашер. — Не идет. Ни хрена не помню. Зис из бед, зис из тоул.

— A bed, a towel, между прочим. С артиклем.

— Остобрыдло. Хочу домой, в Эмек-а-Хессед. Дом куплю с садиком — у меня ж теперь пенсия у-уа! — столярную мастерскую... Чего меня тут еще держат?

— Сегодня приходила Малка, знаешь?

---

\* табан — армейская аббревиатура для увеличенного срока службы (мера наказания)

— Что я, нанят ее принимать? Она, может, пока я тут, с половиной города ложится.

— Ави, можешь за нее быть спокоен. Я же ездил, проверял.

— А Цахи?

— Просто сплетня.

— А Коби? А Шуки Надив?

— Кто такой Коби, я не знаю, а Шуки в Суэце. Можешь не беспокоиться, у него не такой длинный. Вчера, Малка говорит, Дани приставал к ее брату Орену. Орену уже три года. Дани подползает к нему и пытается по нему залезть, а Орен садится и плачет. Славно, правда?

— Ненавижу их!

— Ненавись, если тебе так важно. Но ты им нужен.

— Сейчас я им не нужен. Вот приеду в Эмек-а-Хессед, тогда я им буду нужен. А так, что мне они? Утешение мне они, да? Моя б воля — ни за что б не женился. \*

— Великое дело, я б тоже не женился, если б знал, как будет. Кстати, как тебе Далия?

— Какое тебе дело?

— Ты из-за нее английский бросил?

— Да. Приходит, сучка, даже не смотрит на тебя, одолжение делает. Не для меня она здесь служит, а для с в о и х, репутацию зарабатывает. А голос такой манерный. Снобка. Надо быть хорошим френком\*, я-алла, культурным френком, я-кусс-шармутта\*\*. Дехиллак, Андре, чего он рыбу нам не несет?

— А это что? — Андре указал на отодвинутые тарелки, где в лимонной жиже вытянулись рыбы хребты.

— Да, я и забыл. Скажи, Андре, как это я все забываю?.. — лицо его напоминало близорукого, потерявшего очки.

Андре заплатил по счету — была его очередь, — но Ашер снова попытался сунуть ему десятилировую бумажку. Ему было неловко. Он даже пообещал устроить Андре увеличенную закладную: брат Ашера работал в строительной фирме "Мошковиц и сыновья", а Андре был новым репатриантом и искал квартиру. Как еще вознаградить психиатра, Ашер не знал.

По пути назад в центр они молчали, дождь лупил по окнам машины, а Андре диктовал в уме итоги сегодняшней беседы, потому

---

\* френк (идиш) — уничижительное название для евреев Востока.

\*\* я-кусс-шармутта (араб.) — ругательство, вошедшее в иврит.

что это был не побег, как думал Ашер, а часть работы, то самое "дежурство", о котором Андре якобы врал Саре по телефону. Впрочем, где-то Ашер знал все это, но не сводил в уме концы.

Эмек-а-Хессед, Долина Милосердия, весной облака все выше и белее, пока не исчезают к Швуот и не стоит над городом умопомрачительная синева, утром подернутая туманом, к вечеру прозрачная и жестокая. Пахнет эвкалиптовым листом. По узкой улице Табенкина в Шхунат-Кедари шастают серые с разводами кошки, за заборами сидят в халатах нечесанные женщины. У проволоочной ограды дома номер семнадцать стоит толстый переросток Проспер и лупит палкой по табличке "Ашер и Малка Лугаси". Жестяная табличка почти не звенит, и это раздражает толстого Проспера, язык высунут от натуги, глаза блестят.

— Я-маджнун, бойна, лама киссахта т'курса, абую? \*

— Что такое? — из окна высовывается голова Малки в платке. — Ашер, о каком стуле он говорит?

Ашер выходит из-за дома, весь в стружках, и неуверенно косится то на Малку, то на Проспера.

— Что ты сделал с его стулом?

— Починил и отдал. В чем дело?

— Можешь взять назад. Тфаддаль, сиди на нем ты и вся твоя семья.

— Б'хяй, он и так ничего не стоит.

В мужские дела Малка не вмешивается принципиально. К тому же Дани на кухне уселся верхом на кошку и кричит: "Аба, аба, аба, а-аба! Аба-аба-аба?", а во рту у него... Чего только они не напихивают в рот. Малка просунула палец, достала из-за шести острых зубов комок чего-то и, не рассматривая, бросила в ведро. Суп перекипал, и черт знает куда подевалась коробка с кунжутом для печенья.

Проспер умильно смотрит Ашеру в лицо, а левая рука разглаживает в кармане десятилитровую бумажку. Это уже который раз Ашер возвращает ему деньги за тот же покалеченный стул. А все почему? Просперу пятнадцать лет, но он знает, что к людям нужен подход.

— Что тебе снилось сегодня, я-маджнун?

---

\* ... (иврит-арабский диалект) — Эй, ненормальный, чего ты растерзал кресло, дорогой?

— Пошли сядем, я кофе сделаю.

Они проходят за дом, к верстаку, где на табуретке стоит жестяная кружка с кипятильником. За забором у соседей бегают Злая Собака, хорошо известная Просперу, туда-сюда, на цепи.

— Ну? — Проспер закатывает глаза под широкие брови. Лицо его становится подобным потной красноватой луне во время хамсина.

— Я стоял на высокой-высокой горе, у четырехугольного помоста с "рогами" по углам...

— С какими такими рогами?

— Я же тебе рассказывал. Такие изогнутые камни, только цельные с плитой, понимаешь? Вот как я у верстака приделал.

— Ага...

— И у остальных трех сторон тоже стояли. Это был отец мой покойный, шейх ихний какой-то, маленький, сухонький такой, и девушка рыжая.

— Ты ее знаешь?

— Нет, ни разу не встречал. Вот, ветер был очень сильный, и на жертвеннике появился огонь, там ничего не было, пусто, понимаешь, и появился сначала такой маленький огонь, как волосы этой рыжей, и потом становился все больше.

— Из ничего огонь? Во дает! Ну, говори.

— И этот огонь стал крутиться и гематрия была, как у ханукального волчка: "нес гадоль айя по"\*: Чья гематрия? Четырех имен, моего, отца, Кармелы и шейха Кайса, и огонь не мог остановиться, рос и вертелся, и почти достигал нас. Погоди, я тебе кофе налью. Ты "боц", как всегда?

— "Боц". — Когда Маджнун отвернулся, чтобы сделать кофе, Проспер схватил на краю верстака клещи и сунул их в карман, скорчив рожу от огорчения, что больше нечего стянуть. Затем лицо его снова приняло выражение полной луны в хамсин.

— Вот. И тут на нас спустилось облако и голос сказал: "И выбрал я".

— Так прямо и сказал? А кто это был? — Проспер подтянул штаны, приспустившиеся из-за тяжелого инструмента, и, **положив** толстую щеку на ладонь, продолжал слушать.

---

\* На ханукальном волчке четырехугольной формы помещено четыре буквы — начальные буквы фразы "Чудо великое было здесь". Гематрия — сумма числовых значений букв.

— Сам догадайся. И огонь перестал вертеться и остановился между мной и девушкой...

— Кармелой?

— Какой Кармелой?

— Ты сказал, ее звали Кармела.

— Ничего я этого не говорил. Пей, остынет. И огонь скользнул ко мне и потянулся ко мне языком. Но тут шейх поднял руки, облако поднялось к остальным облакам на небе, а огонь погас.

— А дальше?

— Все.

— Знаешь, я еще и не такую штуку видел. Смотрел кино, "Спас инважн" называется, про астронавтов?

— Я в кино не хожу. Работы много.

— Знаю я твою работу. Гвили дверь уже месяц ждет.

— А вот уйдешь, и возьмусь за нее. За час кончу.

— Будь здоров, Маджнун.

— Шалом, Проспер.

Глаза Проспера забегали, как ртутные шарики. Выйдя из калитки, он вприпрыжку покатился за угол. Там он достал из кармана клещи и со злостью швырнул в куст чертополоха, спугнув длинную, как колбаса, кошку. "Кто эта Кармела?" — подумал он. И погладил в кармане десять лир.

\* \* \*

Сны... сны. Дани рос, а когда Ашер продал за полцены свое столярное оборудование, Малка плюнула на все и ушла жить к родителям. К тому же господин Пелед, сослуживец ее отца, еще крепкий из себя вдовец, стал заходить. Ашер время от времени стал исчезать из дому, порой на несколько дней, но никто не знал, куда. Никто и не интересовался. Сиденье Ильи-пророка\*, которое он сделал для местной синагоги, рав Данино распорядился вынести: в странных видениях столяра он подозревал нечистую силу. Впрочем, оно стояло у кого-то дома. Деньги от продажи мастерской Ашер употребил на печатание афишек со своим портретом, в которых он призывал народ Израиля приходить по средам на площадь Атарим в Тель-Авиве и слушать его. Он и вправду приходил на пло-

---

\* Сиденье Ильи-пророка — ритуальное сидение, на котором сидит восприемник во время обряда обрезания и держит на руках ребенка.

щадь Атарим и собирал десятка два слушателей, пока в один прекрасный день двое крепких голубоглазых парня, похожих друг на друга, как близнецы, не взяли его под руки и не усадили в гражданскую машину. Несколько лет он провел в закрытом заведении, пока его не выпустили как безопасного для общества. В родной город он не возвращался, и никто не ведал его путей.

Я его встретил в поезде, и другие его встречали в разных местах. Он не мылся несколько дней и не мог мне внятно ответить, где он живет, и есть ли у него кто-то. Наконец, когда солнце утонуло в море и настал вечер, поезд прибыл в Хайфу, и он сошел на перрон. Я потихоньку последовал за ним по подземному переходу до автобусной станции. Там он купил билет на Тель-Авив, и я оставил его.

Кармела, жена моего приятеля из Эмек-а-Хессед, рассказала мне остальное, но еще не время говорить об этом.

Ибо я родился в Эмек-а-Хессед, Долине Милосердия, и суди нас Создатель не по милосердию, а по суду, ни мгновения не устоял бы мир.

Но нет моего надела в Эмек-а-Хессед, и нет мне успокоения. Судя взыскую я: лицом к лицу.

## КОТ

— Ты знаешь, Шими, кто к нам сегодня придет?

— Ну? — Шими поднял голову от тарелки, на которой лежал едва надрезанный бифштекс с картошкой. — Кого ты зазвала сегодня?

— Помнишь Иду?

Шими торопливо прожевал кусок мяса и откинулся к спинке стула.

— Нет, а что?

— Ида Фогель из кружка в Эмек-а-Хессед, ты с ней еще поцапался насчет поселений...

— Эта старая психопатка? С завивкой?

— Почему ты так говоришь? Очень славная пожилая дама, занимается у меня йогой, читает Ницше...

Шими снова склонился над тарелкой, так что жене осталось наблюдать только голубую кипу, затерявшуюся в черных патлах, да скулы, ходящие от интенсивного жевания. Хана ковырнула вилкой морковную котлету. После года совместной жизни она

оставалась вегетарианкой. Шими же был не дурак поест, особенно вечером, когда приходил с объекта.

— Я в свое время поразились: прошла через Освенцим — и Ницше. Ты, кстати, читал его? У нас есть неплохой перевод Эльдада...

— Когда я буду его читать? Встаешь в пять, возвращаешься в шесть, вкалываешь, как проклятый, чтоб выплачивать долги. И тут твоя красавица начинает учить тебя образованности, этому, как его? Ниццеру?

— Ницше. Не важно. Короче говоря, г-жа Фогель уезжает на неделю на Родос и раздает по знакомым всех своих кошек, чтобы...

— И... — Шими поперхнулся. К этому времени бифштекс уменьшился вдвое.

— Это чистый, обученный котик, — быстро проговорила Хана. — Ходит по нужде в песок, не безобразничает. И вообще я уже пообещала.

— Слушай! — сказал Шими и отодвинул пустую тарелку. — Кофе я сейчас пить не буду и побыстрее пойду лучше спать. Пока не пришла твоя Ида Нудель и я не почувствовал себя у вас с ней в гостях. Спокойной ночи, май деар, хэв а найс четт.

Он круто встал из-за стола и повернулся к гигантскому, во всю стену, окну гостиной. Там было темно. Внизу, в долине, виднелись мелкие россыпи огней, да тень от молодого чахлого деревца трепыхалась на местах запотевшем стекле.

— Спокойной ночи! — отозвалась Хана уже из глубины кухни.

Когда дверь в спальню захлопнулась, она закрыла кран и воровато скользнула в холл, чтобы стянуть сигарету мужа. Она преподавала йогу и, начав курить вскоре после свадьбы, делала это тайком от всех. С удовольствием. Да, да, нашей красавице Хане очень хотелось своей маленькой жизни, и уверенная, что муж заснул, как убитый, едва только укутался в одеяло, она прошла в гостиную, засунула в магнитофон кассету с детскими песнями Хавы Альберштейн и стала внимательно слушать, как маленькая женщина жила внутри большого-большого арбуза и что случилось потом.

По дороге, ведущей в поселение, обычно пустынной после захода солнца, замелькал, приближаясь, свет. Хана прикинула, сколько времени г-же Фогель понадобится на объяснения при въезде в ворота, и взяла вторую сигарету. Когда раздался звонок, она остановила магнитофон и помедлила, прикидывая, спрятать ли кассету. Не спрятала, и побежала, накинув шаль, открывать калитку.

— Холодно тут у вас, — улыбнулась г-жа Фогель, войдя в холл, пока Хана помогала ей снять пальто. — Даже неуютно как-то.

— Горы, — ответила Хана. — Зимой здесь сильные ливни, оползни. У Вассермана, нашего "старосты", машину на стоянке раздавило. Вы присаживайтесь.

Госпожа Фогель, невысокая худая женщина в брюках и английском жакете, села у журнального столика, поставив рядом с собой чемодан. Чемодан шевелился, переминаясь боками.

— Как дела у Шими? — спросила она.

— Он спит. В последнее время он страшно устает на стройке.

— Где он сейчас строит? Погоди, Кот, — прервала себя госпожа Фогель, — сейчас мы тебя откроем. — Она стала перебирать связку ключей, зажатую в ладони. — Вот, нашла. Так где?.. — она посмотрела на Хану.

— Маале-Гвура 3, в семи километрах отсюда. Это пока еще начало: ровняют площадки, прокладывают дороги, всякое такое.

— Эх, — госпожа Фогель махнула рукой. — Ну, голубчик, вылезай на свет Божий.

Она приоткрыла молнию, и из отверстия показалась белая со светло-шоколадным пятном лапа. Затем лапа исчезла и ее место занял круглый кошачий лоб с черным ухом. Госпожа Фогель просунула обе руки в чемодан и извлекла животное наружу.

— Ну, юноша, посмотри, как живет преуспевающая молодая пара. Здесь твоя нора на целую неделю. У-у, кусака, не топорщись. Сиди тихо.

Кот был юн и хорош собою. Он был строен и длинноног. Палевая шерстка, украшенная неправильной формы пятнами цвета мокко, переходила в белую на лапах и сгущалась в черную у ушей и на хвосте. Белый треугольник на груди напоминал крахмальную манишку, глаза сияли красным. Сразу было видно, что он избалован и глуп.

— Он сиамский? — неуверенно спросила Хана.

— Помесь, — ответила хозяйка. — У него романтическое прошлое. Я вообще-то не люблю сиамских кошек, но мой Пуци, этот толстяк, придерживался другого мнения. Он предпочел мать этого красавца всем местным дамам и добился своего. Когда его высокогородная мамаша родила, ее хозяин, неприятный человек, между нами говоря (я не хочу называть его имени), явился ко мне с претензиями, что я испортила ему целый помет. Я! Вы можете себе это представить?

Юный красавец, удерживаемый умелыми руками, изгибался в причудливых позах, надеясь как-нибудь выскользнуть.

— Удивительно, — заметила Хана. — Хотите чаю?

— Попозже, если не возражаете, — ответила госпожа Фогель.

— Давайте его выпустим, пусть начнет осваиваться, — предложила Хана.

Госпожа Фогель кивнула и выпустила кота. Кот изогнулся дугой и исчез с глаз долой. Только легкий шорох из-под дивана выдавал теперь его присутствие.

— Он не... — начала Хана.

— Я почти уверена, что нет. Вот, я привезла тазик и мешочек с песком, чтобы вы не выходили в такую темень (вы же не приготовили песок заранее), ему надо только раз показать. Но я думаю, это не к спеху. У вас тут, наверное, замечательный вид, — добавила она, глядя на темное окно.

Эту фразу произносил всякий, кто приходил к Хане в гости. За этим следовали расспросы о числе комнат, планировке и метраже, цене виллы и размере ипотечной ссуды, которую давали за "зеленой чертой". При этом те, кто не были "в курсе", восхищенно причмокивали языком, а посвященные пускались в разговор о добавочной ссуде от министерства сельского хозяйства, тема была актуальная и бурно дискутировалась в виллах и "караванах" по всей Иудее и Самарии.

Госпожа Фогель поправила заколку в волосах и спросила:

— Как Шими чувствует себя среди здешней публики?

Хана еще раз напомнила о чае. На этот раз гостя не возражала. Хана поставила чайник и вернулась.

— Ну, смотрите, конечно между ним и "гуш-эмуминниками" разрыв велик, и культурный уровень и... вы же сами понимаете. Но тут есть свои преимущества. Очень важно, чтоб в поселении был свой строительный подрядчик, к тому же недорогой. Он участвует в заседаниях совета поселения и к его голосу прислушиваются. Кроме того — синагога. Кроме того — его рабочие из соседней деревни, из Эйн эль — как-его-там. Это тоже очень важно.

— Понимаю, — гостя вперилась в Хану пронзительными красноватыми глазами на обветренном, пересушенном израильским солнцем лице с неравномерным пигментом. — Друзья-то хоть у него есть?

— Да, пожалуй... Вы же знаете, Шими прожил восемь лет в Аме-

рике, а у нас тут есть пара, такие Аккенбауэры из Нью-Йорка. У них много общего на американской почве.

— Аккенбауэры? Я знала одного драматурга с такой фамилией, девочкой, еще до... Он успел эмигрировать куда-то на Дальний Восток, в Барвазию, в Индонезию, не знаю точно.

— Я не думаю, что это что-то то. У Фреда родители из Галиции. — Хана встала и прошлась по комнате.

— Кс-кс-кс, — позвала она кота из-под дивана. — Как его зовут?

— Его зовут КОТ. Я примеряла к нему несколько имен и ни одно не подошло. Так он и остался, котом вообще. Иди сюда, мой дурак! Иди, не дрожи ты там, еще надрожись. Знаете, он немного собака, как все сиамские. Собака, а собака, ты где?

Госпожа Фогель вытащила Кота из-под дивана.

— Сейчас мы покажем тебе, где песок, и ты снова станешь ученый кот. Хана! Вам не трудно будет наполнить тазик?

Сидя на руках у хозяйки, Кот собрал все четыре лапы вместе, изогнулся дугой и приготовился к прыжку. Хана схватила его поперек живота и потянула к себе. Тут же раздался ее отчаянный крик.

— Он меня поцарапал!

— Лапочка, девочка, кто же так берет кошек? — и госпожа Фогель снова полезла под диван.

— Ну, красавец; теперь понюхай песочек.

Кот был водружен на тазик, где не остался ни мгновения. Хозяйка и гостя едва успели повернуть голову к дивану, куда, по-видимому, скрылся сверхзвуковой фантом.

— Ладно, еще привыкнет, — сказала госпожа Фогель.

Кот скреб стенку. Хана молчала. Она думала, что ходить за котом будет куда проще.

— Я приеду в следующее воскресенье. Кормите его рыбкой что подешевле, и лучше всего не выпускайте его вовсе: он существо молодое, может увлечься и пропасть, — сказала госпожа Фогель на прощанье.

— Счастливого отдохнуть, — улыбнулась Хана.

Посреди ночи Хана открыла глаза. Шими сидел на кровати, склонившись к ней, и беспокойно шептал:

— Ханеле, проснись. Проснись, Хана, пожалуйста.

— Что такое? — проворчала Хана.

— В доме кто-то есть. Я не хочу, чтобы они тебя тронули.

— Кто? Что?

Раздался звон битой посуды. Шими достал из-под подушки автомат и передернул затвор. Хана приподнялась на локтях и тут же опустила на постель с нервным смехом.

— Это кот, Шими, нам вчера принесли кота.

Шими выругался и положил автомат на место.

— Тогда спокойной ночи, Хана.

— Спокойной ночи, — ответила Хана и поцеловала мужа в щеку.

Утром, когда Шими уже ушел на работу, наскоро выпив в пред-рассветной мгле свой кофе, Хана встала, приняла душ и стала осматривать дом. Ночью Кот вышел из своего убежища и обследовал местность. Он разбил на кухне две тарелки из пирекса, но что куда обиднее, он закогтил колонку стереопроигрывателя, из которой теперь свисали клочья мембраны. Самого Кота видно не было.

Хана сделала себе стакан апельсинового сока и села на ковер медитировать. Темой она выбрала себе любовь ко всему живому и мотив Кота в ней доминировал. Медитацию прервал писк электронных часиков. Через полчаса в клубе поселения Хана давала урок йоги поселенческим женам непорочным. Денег она за это не брала, зарабатывала она, ведя кружки в Эмек-а-Хессед и Кфар-Майзелис. Здесь ей был важнее ее статус в поселении, где хорошо помнили, активистом к а к о й партии был ее отец. Месяц после последних выборов в Кнессет с ней никто не здоровался: единственный голос, поданный в Маале-Гвура за Маарах единодушно приписывался Хане. Потом, впрочем, выяснилось, что это был Вассерман-младший, восемнадцатилетний сопляк, с тех пор не раз сидевший в военной тюрьме за отказ служить в Ливане. Но незримая перегородка между Ханой Циглер-Мизрахи и "своими" оставалась. Да и йогу (официально именуемую здесь гимнастикой), которую жены непорочные любили за то, что она укрепляет мышцы живота между родами, всегда можно было выставить, как поклонение языческим божествам — и это в религиозном поселении...

Хана еще раз посмотрела на часы и позвала Кота. Кот молчал.

В полдень Хана поставила Коту тарелку с рыбой и вытащила его из укрытия. Теперь можно было посмотреть на него вблизи. Кот не был похож на длиннотелых и коротконогих кошиц, сигавших по помойкам в Эмек-а-Хессед. Он был длинноног и умел необычайно горбить спину. Мех его, жестковатый и пушистый одновременно, сиял чистотой. Он был застенчив, и пуглив, и очень хорош собой — этаким кошачий Иосиф-праведник. Хана прижала

его на минуту к щеке, а затем выставила его перед тарелкой. Кот отвернул голову и стал искать взглядом дверь.

— Ты же с вечера не ел, кецеле, — сказала Хана.

— Ну и что? — ответил Кот. — Если я захочу, я могу не есть полгода. Клянусь мамой, я особый Кот, не как все.

— Ты болван! — воскликнула Хана. — Мне велено тебя кормить и, право же, форель не стыдно есть даже кошачьему королю.

— Форель? — пробормотал Кот, пережевывая рыбу. — Это можно попробовать.

— На, возьми еще кусочек.

— Э-э, нет! — ответил Кот и укусил Хану за палец. Та взвизгнула и не заметила, куда он исчез.

Хана махнула укушенной рукой и присела на диван дослушать вчерашнюю песенку. Песенка смущала ее. Женщина жила в большом просторном арбузе и наслаждалась жизнью, пока не окончился сезон. И пришлось ей искать новое жилье. То, что она нашла — была даже не комнатенка, а так, коридор в морковке. И ей пришлось распилить пополам буфет, чтобы разместить хоть часть вещей, и все равно было тесно и неудобно, а ноги приходилось держать на улице. Хана оглядела гостиную зала и пропела, подражая певице: "И вдруг — прошел их сезон".

Хана перекусила вчерашней морковной котлетой с морковным же соком и села поиграть на гитаре. Из-за укушенного пальца это было довольно неудобно, а все мелодии сбивались на песенку про тетю в арбузе. Ну и ладно, решила Хана и за три минуты подобрала всю песню. Правда, октавы брать она была слаба и слегка фальшивила. Так она скоротала время до двух часов, а потом выпила еще фруктового соку и поехала в Эмек-а-Хессед, преподавать и за покупками.

Неделя кончалась, кот уже почти привык на новом месте, но в пятницу утром произошла катастрофа. Проснувшись, Хана обнаружила у постели мужа и поднос с кофе.

— Доброе утро, Шими... Слушай! Что случилось? Почему ты не на работе?

— Понимаешь, Хана, я ждал, чтоб ты встала. Это все из-за этого дегенерата, Кота.

— Что такое?

— Я решил, что стоит ему немного погулять. Выпустил. Он постоял у двери, а потом взял и убежал. Уже было светло, я искал его

всюду и не нашел. Поищи ты, может ты найдешь, а мне надо хоть на минуту показаться на стройке.

— Блядское отродье! — Хана выскочила из-под одеяла, опрокинув на постель обе чашки с кофе. — Межеумок! Дегенерат! Ты когда-нибудь будешь отвечать за свои поступки?

— Ничего не поделаешь. Может он еще придет. А нет — купим нового твоей Иде Нудель.

— Уходи отсюда немедленно! — Хана попыталась вновь забраться под одеяло, но там было сыро от кофе. — Кретин! — Она сняла через голову ночную рубашку, которая тоже замочилась. Сбитый с толку Шими попытался поцеловать ее, но получил тот несильный, но какой-то сухой толчок в грудь, которым Хана владела с четырнадцати лет и от которого бестактные ухажеры отлетали к противоположной стенке.

— Во-о-он! — завопила она, приседая от собственного крика.

Полдня Хана провела в безуспешных поисках, зажав в руке кусок форели для приманки. Она даже пропустила час, когда должна была прийти Фатма убирать дом, и ей пришлось убирать самой. За мытьем пола ее и застал Шими.

— Ну, нашелся?

— Нет, — Хана присела в кресло с тряпкой в руке. — С сегодняшнего дня в доме новый порядок.

— Что, Фатма ушла? — не понял Шими, глядя на Ханин передник.

— Это тоже тебя не касается. Ты себя уже проявил. Командовать будешь у себя на стройке. Первое. Ты мне обещал поездку в Индию. Она состоится в мае.

— Я не смогу тогда купить новый бульдозер.

— Ты сам хороший бульдозер. Так жить, как мы жили, невозможно. Хочешь, сиди сам со своими бульдозерами, а я поеду на год. Или два. Во всяком случае, сколько ты мне уделяешь внимания, столько я получу от любого встречного.

Шими помолчал с минуту и произнес:

— Может, ты знаешь, что здесь вчера делал Мошковиц и о чем он говорил с Вассерманом?

— Кто такой Мошковиц?

— Король бетона, "Мошковиц и сыновья"...

— Не знаю и знать не хочу. Ты можешь торчать на стройке сколько вздумается, а я хочу жить своей жизнью. Точка. И не труси пепел, иначе будешь кончать уборку

- Обед готов?
- Нет! Почему это я должна покупать тебе мясо, если это против моих принципов?
- А курить — это не против твоих принципов?
- Так ты за мной еще и шпионишь!

Шими хлопнул дверью и сел на низкий стульчик в будущей детской (первого ребенка они планировали к осени 1986-го). Он никак не мог понять, почему Хана так разбушевалась. Ну, ушел кот. У этой, как ее, Фогель, еще много кошек. Можно купить другого взамен. Ну, вздорная старуха, ну, поссорится с Ханой — но свет не сошелся же клином на этой бабке! Что она на меня взъелась?

Решив ничего не решать, Шимон отправился на кухню. Готовил он хорошо еще с Америки. Их было там шестеро в двухкомнатной квартире в пуэрториканском квартале, все израильтяне, горячие, злые и жадные до справедливости и до денег. Вряд ли Шимон стал кому-нибудь рассказывать, как он заработал те пятьдесят тысяч долларов, с которыми вернулся в Эмек-а-Хессед, и почему он вернулся. "Мани из мани", — улыбнулся бы он кривой улыбкой и постарался бы не иметь дела с тем, кто стал его об этом расспрашивать.

Кончив есть, он увидел за своей спиной Хану, зажигающую на кухонном окне субботние свечи, — чтоб было видно, кому надо. Она взяла на себя эту обязанность, чтобы избавиться от клички "мапайницы", следовавшей за ней, точно тень. Шими вышел в гостиную взять молитвенник и направился в синагогу.

Вечер они провели в обществе толстого Фреда Аккенбауэра, разглагольствовавшего на ломаном иврите о братстве и солидарности еврейского народа, и его жены Дианы, то и дело поднимавшей выщипанную бровь в знак особого интереса к словам собеседника. Шими грузно кис в кресле. Ему хотелось разнести этот дом и все поселение к чертовой матери.

После ухода гостей он лег в постель и уже почти заснул, как пришла Хана. Она молча легла рядом. Шими пошевелился, освобождая ей побольше места.

- Может он еще придет, а?

Хана не отвечала. Прошло минут десять, а может, час. Оба не спали. Шими кипятился.

- Хочешь..?
- Нет, спасибо. Ты очень любезен.
- Было бы предложено.

Оба прислушивались к завываниям ветра снаружи. Наконец Хана проговорила:

— Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Помнишь? Ты, я тебя спрашиваю.

— Да, — устало проговорил Шими.

Снова пауза.

— У Иды уничтожили всю семью.

— Кто?

— Да немцы же. Нацисты. Эти кошки у нее, понимаешь, — она верит в перевоплощение душ, то есть она и верит, и не верит... Она пытается как бы воскресить... Потерять кота — значит потерять надежду. Нет, неверно. В общем-то она ни на что не надеется.

— Она обращалась к психиатру?

— Думаю, что да. Что от них толку?

Снова пауза.

— Хана?

— Да? Я почти заснула...

— Завтра вместе поищем.

— Ладно.

Снова пауза.

— Она живет на репарации из Германии?

Хана не ответила. Ветер свистел меж домов Маале-Гвура. Ночь отдаленно стояла поодаль, не простирая на поселение своих крыльев. Здесь и не только здесь, даже во тьме виделся ровный свет флюоресцентных ламп. Даже в тишине — шорох и резкие окрики. Даже во сне — нервное ожидание.

Субботу они провели бесшумно в разных концах виллы. Шими спустился в гараж и копался в своем джипе, а потом лежал в гостиной на диване, надев наушники, и слушал арабскую музыку, от которой у Ханы обычно болела голова. Хана не могла сосредоточиться ни на чем, и то хватала недочитанную Агату Кристи, то наигрывала что-то на гитаре, и даже села написать стихотворение, но оно получилось уж слишком ни о чем, слишком даже для Ханы. Шими отлучался в синагогу на шахарит, бесцельно слонялся по гостинной, укрепил шатающуюся электрическую розетку, выпил стопку коньяку и почти обрадовался серым сумеркам. Хана достала свечу и благовоние для "авдалы" и положила их на кухонный стол. Сумерки и туман ограничивали поле зрения забором из колючей проволоки и тремя чахлыми деревцами в палисаднике. Примутся ли? — подумала Хана. И ответила: примутся. Деревья всегда принима-

лись, еще со времен барона и БИЛУ. Но ничего утешительного в этом не было. Она представила предстоящую беседу с госпожой Фогель. И вообще как-то надо жить дальше, может, действительно уехать в Индию... Ей показалось, что она стоит перед входом в длинный коридор внутри морковки, а где он кончается? Там, где эта сгущающаяся темень за окном кончается, далеко, почти нигде. Может, я беременна? — с испугом подумала Хана. — Надо принимать таблетки, как все. Коридор был длинным и узким, и Хана искала ему название. Замужество? Она представила себе постановление суда в одной руке и трубку в другой. "Да, мама, в девять тридцать машина, заберу вещи. Кто? Яир звонил? Передавай привет. Нет я не хочу его видеть. Нет. Нет. Я же сказала, нет". А коридор все равно оставался.

Шими сидел на скамье в синагоге. Он отбарабанил молитву и теперь механически гудел слова псалмов, ни о чем не думая. Синагога напоминала большой улей, где сновали поселенцы в полосатых талитах, выполняя четко и бездумно неведомую, но ощутимую цель механической, насекомой, родовой экспансии, с разделением функций и обязательной готовностью к смерти. Но смерти не одинокой, а смерти-в-улье, когда ты, покрытый полосатым национальным флагом, сам становишься символом продолжения в однородную гладкую бесконечность.

На пути домой Шими увидел тень, скользнувшую под картонный ящик возле кооперативной лавки. В темноте он ничего не разглядел, но напряжение последних часов заставило его подбежать и запустить обе руки под коробку. Оттуда раздалось злое шипение и острые когти вцепились в запястье, но Шими не почувствовал боли. Другой рукой он нащупал кошачью лапу и со стоном отчаяния потянул за нее, не обращая внимания на укусы.

— Шавуа тов! — раздался голос за его спиной. Это был Вассерман.

— Шавуа тов! — проскрипел Шими откуда-то из гортани.

— Что с тобой? — спросил Вассерман. — Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет, спасибо, — криво улыбнулся Шими, в то время как шесть острых зубов (шесть — Шими знал наощупь), ровных и белых, привыкших к очищенной рыбе, вцепились в его палец. Вассерман продолжал стоять.

— Посветить тебе? У меня с собой фонарик.

— Спасибо, я сам найду, — уцепился Шими за версию Вассермана. — Это обручальное кольцо.

— Так дай помогу, — Вассерман достал из кармана трубку и принялся ее набивать не торопясь.

— Нельзя. Я должен сам найти. Такое поверье.

Кот отпустил один палец и вцепился в другой. Шими почувствовал, как у него сочится кровь.

— Ты же знаешь, что галаха тебя вообще не обязывает носить кольцо. Так что тейк ит изи. А, кстати, ты не забыл, что во вторник мы ждем от тебя смету?

— Она готова.

— Сколько?

— Не помню. На заседании узнаешь.

— Ты не хочешь сказать мне, сколько?

— Не сейчас.

Кот впивался в его руку с разных сторон, оставляя глубокие следы. Шими заскрипел зубами.

— Вчера у меня был Мошковиц.

— Ну?

— Имей в виду.

Внезапно Шими стало все равно: Вассерман, подряд, жена, вилла... Он сгрел Кота вместе с картоном и сопровождаемый недоумевающим, но начальственным окриком Вассермана, пошел к дому. Только потом он сообразил, что оставил талит и молитвенник на помойке, и Вассерман, верно, подобрал их.

Он внес Кота в дом и швырнул его куда-то, не глядя. В ванной достал спирт и, шипя от боли, обработал укусы и залепил их антисептическим пластырем. В некоторых местах пальцы были прокушены до кости. Хана с сияющими глазами показалась на пороге ванной.

— Ты его нашел!! Где? Расскажи немедленно! Как?

Шими отстранил жену и вышел на террасу покурить. Луна выползала из-за ближнего склона, и ветки терновника опутывали ее, точно решетка. Это всегда бесило его, теперь он знал. Шими сделал глубокую затяжку и уставился на ограду, окружающую поселение. "Как в концлагере", — промелькнуло у него в голове. С детства он привык жить на осадном положении во имя какой бы то ни было высшей цели. Сегодня он понял, что его естество, его правда, его плоть требуют иного. И оно несовместимо со всем этим. Пришел час выбрать.

Хана вышла на балкон, держа в руках Кота.

— Это не кот, это какие-то полкота, — покачала она головой. — То-о-щий! Истаскался, кретин, под дождем, не жрал ничего, измазюкался. Что мы теперь хозяйке скажем, а?

Шими взял у нее Кота и прошел с ним в гостиную. По ковру, размазанные, валялись куски форели.

— И представляешь, какая сволочь! — сказала Хана. — Голодный, а ест только с рук.

Шими посмотрел на нее, улыбнулся своей вечной кривой улыбкой и содрал с нее блузку, рассыпая пуговицы.

Хана любила это.

### ШАРМУТТА АМЕРИКАИТ

"Мр и Мрс Леви,  
1025 Кантри Аве.,  
Аркей 45954,  
Федеративная Барвазия.

12.15.1982  
Эмек-а-Хессед

Дорогие папа и мама!

Четыре года я не писала вам, потому что не хотела. Я думаю, что вы получали от меня известия через Аккенбауэров, но Аккенбауэры уехали в Японию год назад, и я собралась написать вам сама, чтобы вы не думали, что я умерла или что-то в этом роде. Я очень изменилась за это время и избавилась от комплексов по отношению к вам, поэтому мы можем общаться, как равные, и даже посылать открытки ко дню рождения. Дорогой папочка! Тебе исполняется шестьдесят два года, и я желаю, чтобы ты был всегда здоровым и веселым, каким я тебя знала, и не принимай замечания мистера Ксавьера близко к сердцу, если мистер Ксавьер еще, конечно, твой босс. У тебя есть внук, то есть мой сын. Его зовут Менахем, как дедушку, и ты можешь перенести на него все свои родительские инстинкты, и мама тоже. Прилож. фотография..."

В дверь постучали. Лаура встала. Стараясь бесшумно, чтобы не разбудить сына, открыть ржавую железную дверь, она прищемила

палец и взвизгнула. На пороге стояла Ифат, коренастая девица в возрасте "дурнадцать" с распущенными по плечам волосами. Фонари на улице Усышкина почему-то не горели в эту зимнюю ночь — только звезды (веретенообразное созвездие Ориона и голубой Сириус на две пяди ниже) — у Ифат были влажные волосы и бледные поджатые губы, точь-в-точь, как у ее матери Мадлен, когда третьего дня она окатила с балкона помоями маленького Менахема.

— Нам нужен телефон! — без предисловий выпалила Ифат.

— Он свободен, — мягким шепотом произнесла Лаура и повернулась закрыть за собой дверь.

— Папа велел проверить, может, ты лжешь, — Ифат смотрела в землю.

— Пусть проверит через "16", — сказала Лаура, не оборачиваясь. Она подбежала к аптечке взять пластырь, но вдруг остановилась и вполоборота нагнулась к телефону, стоявшему на полу. Телефон чуть слышно пищал. Лаура поправила трубку и, зябко поежившись, стала разрывать обертку пластыря, разглядывая в зеркале аптечки свое удлинненное лицо, едва освещенное настольной лампой, покрытое глубокими тенями. Лаура поднесла к своему отражению скрюченные пальцы и прошептала по-английски: "Война! Война! Война против всех!"

Она села к столу, но перед тем, как писать, повернула боком стул и вытянула ноги к керосиновой печке с рефлектором. Зябко было в эту субботнюю ночь и темно, сверху гремела музыка: соседи смотрели видеозаписи. Верхний свет Лаура не включала, потому что темнота помогала от музыки сверху.

"Прилож. фотография и на ней я, Менахем и Дани, соседский мальчик, на детской площадке. Менахем — крайний справа, я его пометила стрелочкой. У меня тут вид, как у настоящей мамы, правда? Передавайте привет Джилли, если она еще не околела. Были ли у нее щенки? После той ужасной истории я сомневаюсь, чтоб были. Город, где я живу..."

Лаура закурила сигарету и снова развернулась к печке, вытянув ноги. Зачерпнув крема из баночки, стоявшей на столе, и почти согнувшись пополам, она втирала его в ступни, икры, голени длинных ног, опираясь второй рукой об стул, пока длинный столбик пепла рос на сигарете. Затем сделала длинную судорожную затяжку и освободившейся правой рукой прочертила в воздухе магическую фигуру. Затем откинула волосы за спину и вернулась к письму.

“Город, где я живу, называется Эмек-а-Хессед. Помнишь Барбару Флейссман, которая потом переехала в Штаты? Она подарила городу свою скульптуру, и она стоит у нас на центральной площади, то есть скульптура, а не Барбара. Бедная Барбара! Это единственное место на земном шаре, где она смогла выставиться! Ой, она такая славная, Барбара, не скульптура, конечно. Я ей написала, но она мне не ответила. Теперь я вам, наверно, должна рассказать, как я попала в этот город. Вы, конечно, ненавидите Джо за то, что я с ним уехала. Да, чтоб не забыть, я здесь сдала на аттестат зрелости, так что вам нечего его винить. А вообще-то я не собираюсь оправдываться, иначе бы я вам и писать не стала...”

За ее спиной раздался скрип оконной рамы, и мальчишеский восторженный голос прокричал:

— Шармутта америкаит!\*

Лаура высунула голову по плечи в морозный воздух и никого не увидела. Набрала воздуха, пьяного и летучего, точно шампанское, и во все дыхание закричала:

— Кусс оммак, мамзер!\*\*

Улыбка, появившаяся у нее на лице, делала его теперь ясным и отчетливым, несмотря на тени. Она прошла в соседнюю комнату — посмотреть, как спит Менахем. Мальчик спал лицом в подушку, с головой завернувшись в одеяло. Она принесла из кухни — не ко времени — две субботние свечи и зажгла. Тени в комнате стали еще причудливее. Она зажгла от свечки новую сигарету.

“...и писать не стала. Это было вначале странно, очень странно, вся эта страна, может, я бы что-то понимала, если бы ты, папа, меня отдал в еврейскую школу, а не в католическую. Джо нам много наврал. Ты, папа, тоже слушал его рассказы, как он служил в десанте, а он вообще не служил в армии, только три месяца, а потом его освободили как дурного, и вообще он кололся. Он сначала от меня скрывал, а потом я нашла ампулы и сама стала ему делать, чтобы не было заразы, но себе — ни разу. У него был вправдашний дом по наследству, и в нем-то я сейчас и живу, мы с самого начала поехали к адвокату в Тель-Авив, и он вручил нам ключ. Я наверно слишком подробно рассказываю. У вас сейчас лето. Я долго не могла привыкнуть к северному полусферею? Полушарию? Полу-что-

\* шармутта америкаит (гебраиз арабский) — американская шлюха

\*\* кусс оммак (араб.) — непечатное ругательство, мамзер (ивр) — ублюдок.

то-там, в общем, луна вверх рогами и так далее. А мы сначала пели в Иерусалиме. Джо, то есть, играл на гитаре, а я пела, и он тоже. На автовокзале, на торговых улицах. У Джо была такая расшитая золотом ермолка, а деньги мы собирали неплохие, а ночевали у его друзей из Австралии и из Барвазии тоже, но там было все время грязно, и я боялась, что он сделает себе заражение крови. Он стал какой-то гуттаперчевый, механический какой-то, играл и дергался целыми днями, а спросишь его, чего мол, а он только задает ритм и все, поэтому я уехала в Эмек-а-Хессед. Он жил где-то в разных местах, иногда наезжал и рассказывал всякие истории — то про армию, то про кибуц, и при этом все врал. Я ему давала ужин и отправляла спать. Потом он исчез. Я уверена, что он себе грязный шприц сделал. Он вообще пренебрегал гигиеной. Как-то раз я ему сказала, что я с ним таким грязным не лягу, так он отправился к Олбрайту, это один из Диаспора Ешиве, его потом выгнали и он уехал в Барвазию, потому что гомо...”

Зазвонил телефон. Лаура рванулась к нему невесомым вихрем и цепко, по-птичье, ухватила за трубку.

— Алло! — голос ее был сдавлен от волнения. В трубке кто-то сопел.

— Это семья Наркисс? — разрешилась наконец трубка.

— Нет, — глаза Лауры потускнели.

— Куда же девались все нарциссы! — поинтересовался голос.

— Увяли! — отрезала Лаура и положила трубку.

За окнами появился свет автомобильных фар. Кто-то нажал на гудок и держал его, не отпуская. Лаура приоткрыла дверь. Из машины вылез Йоав, старший сын соседей сверху, и закричал:

— Папа! Дай денег!

— Чего тебе? — на балконе появился Эли собственной персоной.

— Брось мне денег, а?

— Одну минуту, — Эли скрылся в доме. Йоав стоял, задрав голову и не сводил глаз с балкона. За его машиной, перегородившей улицу, стояли еще две и истошно гудели. На улице Усышкина стало светло от фар.

— Почему увяли нарциссы? — поинтересовалась Лаура у парня.

— Уйди. Отстань, — ответил он мечтательно, не сводя глаз с балкона. Наконец балконная дверь приоткрылась, и волосатая рука Эли швырнула сверток к ногам сына. Йоав моментально бросился к нему, как будто Лаура собиралась отнять деньги, поскользнулся и толкнул Лауру. Расширив глаза, она прошипела:

— Блядский сын.

— Ты у меня поберегись, — пробормотал Йоав и скрылся в машине.

Вернувшись в дом, Лаура зажгла верхний свет и — без звука — включила телевизор в углу. В кухне засвистел чайник. Лаура выключила его, сняла с плиты и тут же поставила обратно. Затем подошла к шкафу и стала торопливо примерять платья, одно за другим. В доме заметно потеплело. Она остановилась на стареньком вышитом арабском, до полу, с широкими рукавами и села вышивать на салфетке розу, но не просидела и трех минут, отбросила шитье и закружилась, расставив руки, по комнате. Потом она завела все часы — ручные, будильник и старые настенные, которые по рассказу Джо принадлежали губернатору города Адена. Она даже достала маленькие испорченные золотые часики, которые ей подарил на пятидесятителетие дядя Брюс, и поднесла их к уху: вдруг пойдут. Затем она нарисовала самого дядю Брюса в виде груши и скомкала листок. Наконец, с видом послушной умницы склонилась на колени и зажгла сигарету.

“В Барвазию, потому что гомо, а здесь у гомо нет никаких прав и их — чуть что — прижимают. Кстати, я хочу знать адрес Марты. Ей уже, наверно, двадцать один, как и мне. Если вам не трудно, пожалуйста. Мы с Менахемом живем в доме Джо, как я уже писала, в старом районе городка, среди всяких восточных евреев. Это очень интересно. Папа! Ты знаешь, если бы я еще жила в Барвазии, я бы поселилась в резервации урубубу. Они настоящие, понимаешь? Они, конечно, не знают, кто такой Монтегю Легран или Фабиан Круа\*, но мне не надо с ними помнить, из какой знатной семьи я вышла и к чему это обязывает. Я стараюсь во всем быть на них похожей. Дорогие папа и мама! Вы, конечно, спросите, чем я зарабатываю себе на жизнь. Я работаю, говоря принятым в Барвазии языком, клерком в маленькой фирме, и мне хватает на жизнь, а прошлой весной я даже съездила на Тивериадское озеро, где Иисус накормил пятью рыбами и семью хлебами двенадцать апостолов. Да, я забыла спросить, все ли вы еще живете в Аркее, или переехали в новое место. Что стало со старым домом? Если вы переехали, расскажите мне о новом жилище. Я бы попросила тот эскиз Пикассо, что висел в гостиной, но боюсь, что он пропадет при пересылке. Здесь почта не очень скрупулезная, я хочу сказать, пунктуальная.

---

\* Национальные герои Барвазии.

Я сдала экзамены на аттестат зрелости и даже иврит, но читаю по-французски и по-английски.

Разговаривать мне особенно не с кем, а общественной жизни в Эмек-а-Хессед почти нет. На работе у меня мало друзей, но есть очень милая соседка Малка. У нее сумасшедший муж и сын, сверстник Менахема...”

Лаура задумалась и закурила. Было уже поздно, оплыли свечи. По телевизору беззвучноплыли полосы: сосед Эли на днях разобрал ее антенну. Лаура устроила Мадлен некрасивую сцену, а та объяснила, что у них большая семья и надо расширяться, а ей, Лауре, здесь вообще ничего не принадлежит. Пусть лучше уезжает назад в Америку или откуда она такая взялась. Лаура в долгу не осталась, но антенну ей не вернули.

Лаура потеряла слипающиеся глаза, забыв и размазав по щекам тушь, и вымарала последний абзац. Письмо продолжалось так:

“...и по-английски. Англоязычных в городке нет, но в трех милях отсюда, на поселении, живут Фред и Диана Аккенбауэры. Я с ними познакомилась в супермаркете. Они очень интересные люди, религиозные, приехали осваивать новые территории к востоку от Эмек-а-Хессед, почти как в вестернах, только вместо индейцев — арабы. Фред все время мечтал подстрелить араба, когда в его машину кидали камнями, но пока что он подстрелил бедного ослика, и суд приговорил его к возмещению убытков. Я просила их вкратце писать вам, что я жива и здорова...”

Субботняя ночь нависает каплями измороси над улицей Усышкина в Шхунат-Кедари. Фонарей нет, но из тьмы выпадают сверкающие капли, отражая огни в окнах — люстры, свечи, телеэкраны. Шхунат-Кедари лежит во тьме, топорщась антеннами, изморосью окутало квартал, как спальным мешком.

На безлюдной, как кладбище, площади Пальмаха горят нелюдским светом вывески банков и магазинов. Иногда, по лужам шурша, брызги золотистые поднимая, проезжает мимо машина, но людей внутри не видно.

Редкие огни Эмек-а-Хессед видны из тумана, окутавшего долину. Но только облако, осевшее в ущелье, видят из горной обители Дейр эль-Шамс, полосу тумана, застилающую горизонт и безвидное Средиземное море. А над полосой — черное ледяное небо, похожее на ад из книг огнепоклонников.

Сириус, ледяной, как игла, сверлит пространство синим лучом.

Глаз мертвеца. Беззвучные молнии вспыхивают на западе, безвидные горы стоят на востоке.

Ни лестницы, ни тропы не видно между гигантским черным куполом и тем, что под ним. Но все это пространство есть мост. Всякий шаг и всякий взлет, всякий взгляд, направленный вверх, достигают бесконечности быстрее, чем синий луч звезды — облака над градом сим. Милосердием живет мир, ибо по суду — ни мгновения бы не устоял.

“Я очень одинока. У меня славные соседи (кроме Эли и Мадлен), но они, как мой Менахем, — шумные и бестолковые. Летом, когда я в шортах выхожу повесить стирку, некоторые ужасно смущаются, особенно подростки. А я ни от шортов не откажусь, ни от чего вообще. Вы же меня знаете. Может даже, если бы вы мне купили того опоссума, помните, я бы осталась. А сейчас — я суверенная владычица, обладательница сокровищ, которыми мне не с кем поделиться...”

Лаура подперла рукой голову и уставилась на письмо. Затем боязливо притянула руку и раз-два — скомкала его и быстро-быстро, чтобы не передумать, сунула в огонь. Высокий коптящий язык поднялся из печки и черные хлопья залетали по комнате.

“...но с моего царского трона я ни за что не сойду, потому что здесь мое место...”

Легкие морщинки пролегли у нее от глаз к вискам. Она потеряла глаза, от сна и от дыма, и встала погреть над печкой руки. В дверь постучали. Лаура ринулась к дверям, перемазанная и в чернила, и в тушь для ресниц, в стареньком и любимом арабском платье, влюбленная, ждущая.

— Эрез, милый, сейчас открою, — бормотала она, не справляясь замерзшими пальцами с замком, — ты ехал из Ливана, да, это так далеко, и ты так поздно...

Она наконец открыла дверь. Холодный луч Сириуса упал на нее и она вздрогнула. Ночь ворвалась в Эмек-а-Хессед, нарушив правила игры. Час был поздний, огни погасли, одни только молнии мелькали сквозь клочья облаков. Лаура попыталась сосчитать фигуры, стоявшие за порогом. Их было семь или восемь, а может быть, двенадцать.

— Сначала сядь, — прошелестел в ушах голос офицера из подразделения Эреза Фархи...

## ИЗ КНИГИ "БИОГРАФИЯ"

Юбилейная проза

*"Генерал! Мы так долго сидим в грязи..."*

*И. Бродский*

Я не ездил семь лет никуда отдыхать,  
я все чаще ложусь, не раздевшись, в кровать,  
— на носках идиотские латки —  
и сколько сахара в чай ни клади,  
чай кажется совершенно несладким.  
Вот и женщины нет, которой я сказал бы не уходи —  
с такого все взятки гладки.

Здесь за последние несколько лет  
все решительно сходит на нет,  
штукатурка со стен сползает  
беззвучно, словно в немом кино,  
где зритель с актерами заодно.  
Надо б к зиме подзаклеить окно —  
субтропики не спасают.

Видать — в облюбованной Богом стране  
что-то не больно можетя мне.  
Все остальное — больно.  
Было б разумней не жить вполне.

Впрочем, живу добровольно.

1985



## Бегство

В мутную немочь обули луну,  
в белую зелень одели  
и, не гаясь, в неродную страну  
медленно улетели.

Было бы лучше, если б тишком,  
задами и огородами,  
дедом дорожным с вечерним мешком,  
чертовыми подводами.  
Лучше бы сразу: шась — и в окно,  
дегтем забор — и ославили.

Вышли. На лестнице стало темно.  
Ни на кого не оставили.

1986

## Зимние сборы

Божий перст — аэростат,  
в синей прорве наднебесной,  
над худой коровой местной  
укоризненно повис.

И забывши, право слово,  
как там пишется корова:  
может — ка, а может — ко, —  
пью хмельное молоко.

Захмелею — дерну вниз:  
на разрушенный карниз,  
на пустой, замерзший град  
снизойдет аэростат,  
со шпионскою начинкой,  
поднадзорною судьбой,  
новенький, как бы с починки,  
белый так, что голубой.

Он сидит в дурацкой будке,  
третий день, вторые сутки  
охраняет пустоту,  
размышляет на посту.  
Ничего не понимает,  
головы не поднимает,  
знает плачет над судьбой —  
белой-белой, голубой.

1986

\* \* \*

Бессмысленно долго кончалось детство —  
улыбка надлома на морде лица.  
Но я намерен досматривать действие  
не до антракта, а до конца.

Тогда не остался. Теперь останусь  
— немного проку пенять судьбе —  
дописывать медленно домашние стансы  
своей биографии и себе.

1985

**Новая книга**

**АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. "БИОГРАФИЯ" (КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ).**

Цена в Израиле 9 новых шекелей, за границей — 7 долларов

Чеки и заказы присылать по адресу: А. Верник, Гило-бет 306, ул. Маргалит, 1, кв. 10, 93384, Иерусалим, Израиль.

У нас, в редакции парижского журнала "Русский путь", французских газет не читают. Возможно поэтому все подробности события прошли для наших незамеченными. О взрыве в Орли, конечно, слышали все, но тут же и забыли. Вообще говоря, это не был крупный террористический акт, как, скажем, угон американского самолета в Бейрут или захват итальянского корабля. Диверсия, собственно говоря, не удалась: бомба взорвалась еще в аэропорту — до того, как ее пронесли на самолет компании "Эл-Ал", отбывавший в Тель-Авив. Раненых было довольно много, а убитых оказалось двое, две женщины: израильянка по имени Ривка Арони и пассажирка с норвежским паспортом, которая и пыталась пронести бомбу.

Вечером того же дня в редакцию "Фигаро" позвонил некто с акцентом и сообщил, что настоящее имя погибшей норвежской гражданки — Фатима, что она боец Народно-демократического союза за свободную социалистическую Палестину и что борьба будет продолжаться до тех пор, пока хоть один сионист остается живым.

Некоторые детали, которые я заметил, разглядывая фотографии места происшествия и читая в газетах описание события, вызвали у меня... не то что по-

*Владимир Матлин*

дозрения, скорее цепь каких-то смутных воспоминаний и догадок. Затем я стал все более определенно возвращаться в мыслях к визиту в нашу редакцию за несколько дней до взрыва в Орли одной женщины, которую никто из нас прежде не видел. За прошедшее после ее визита время ее успели забыть, и неудивительно: выглядела она, как обычная русская эмигрантка, какие то и дело появляются у нас в редакции с предложением опубликовать "чего-нибудь задушевного": написанные ямбом стихи или воспоминания о годах юности.

Когда на следующий день после взрыва странная догадка пришла мне в голову (это было похоже, скорее, на нелепое предположение), я стал во всех деталях вспоминать приход в редакцию той неприметной посетительницы.

К нам на четвертый этаж (редакция наша ютится в двух комнатенках в старом жилом доме, недалеко от театра "Одеон") она поднималась, должно быть, не спеша, потому что вошла, не запыхавшись, и сразу спросила меня (мой стол — первый от двери), можно ли поговорить с главным редактором. Она не назвала его по фамилии или по имени-отчеству и даже не сказала "редактор", как он на самом деле именуется, а — "главный редактор". Помнится, я объяснил ей, что редактора в настоящее время, к сожалению, нет в Париже, он уехал в Мюнхен на неделю, но что она может поговорить, если угодно, со мной или с завредакцией — я кивнул на Веронику, сидевшую за соседним столом. Все это я сказал предельно вежливо, как нас учит "Сам", потому что в условиях эмиграции, говорит "Сам", каждый посетитель может быть нашим подписчиком, а потеря каждого подписчика заметно приближает нас к финансовой катастрофе. Она огорчилась и повторила, что хочет говорить с главным редактором, но что ждать неделю она не может, поскольку находится в Париже проездом, и в таком случае... Она внимательно посмотрела на Веронику, потом опять на меня — и направилась к ней. Я был слегка уязвлен таким выбором и, может, поэтому невольно прислушался к их разговору.

Собственно, разговор был коротким и неинтересным. Вначале посетительница спросила у Вероники фамилию и имя-отчество, потом еще раз внимательно ее разглядела и, подумав, сказала, что очень уважает нашего главного редактора, что он честный и смелый человек и несомненно напечатает ее статью. С этими словами она подала Веронике несколько листов линованной бумаги, исписанных от руки. Я даже заметил — черными чернилами.

Вероника привычно взглянула в конец — есть ли адрес для ответа? — и сказала, что это не статья, а скорее письмо. Какая разница, возразила посетительница, важно, чтобы это было напечатано и чтобы люди прочли. На прощание она сказала: “Имейте в виду — я надеюсь”, — и вышла, попрощавшись только с Вероникой. Говорила она громко и твердо, произношение у нее было (это мой “конек”) городское, даже столичное, но простонародно-столичное, если можно так сказать. Эдакий “московский кокни”. Еще я запомнил глубоко сидящие глаза, тонкие губы, серый головной платок.

Когда она вышла, я спросил у Вероники, что она там принесла.

— Обычные дела, — махнула рукой Вероника, — эмигрантские склоки. Кого-то там обличает. “Сам” этого не любит, ему хватает склок с писательской братией...

Она явно отнеслась без всякого восторга к творчеству посетительницы, которая так верила в нашего редактора. Было похоже, что она даже не покажет “Самому” эту писанину, а в лучшем случае ответит по собственному разумению, что-то вроде: “Ввиду ограниченного объема журнала “Русский путь”, редакция, к сожалению”... и так далее.

Я все больше заикливался на своей догадке, вернее предположении, хотя серьезных доказательств у меня не было — так, самое общее сходство, насколько можно было разглядеть внешность убитой на фотографии в газете, где она была запечатлена опрокинутой вниз лицом, в луже крови, с задранной юбкой и безобразно раскинутыми ногами. А может быть, сходство придавал головной платок? Подпись под фотографией утверждала: “Место происшествия через восемь минут после взрыва”. Видна была только одна из двух убитых — кто она? Норвежская гражданка Фатима, так и не научившаяся обращаться с бомбами, или ее жертва Ривка?

Если не ответ, то хоть какой-то намек на это мог содержаться в статье (или письме, как угодно), принесенной в редакцию той русской эмигранткой, и мысль, что исписанные черными чернилами листы все еще находятся в столе у Вероники, не давала мне покоя.

Проще всего было бы, конечно, попросить письмо у Вероники, но это неизбежно вызвало бы удивление — зачем? А признаваться ей в своих подозрениях я не хотел ни за что: скорее всего, это чушь, и уж тут-то Вероника сведет со мной счеты за все мои

насмешки, розыгрыши, подначки и издевки. Весь "русский Париж" будет надо мной смеяться!

Но все это оказалось не чушью, все оказалось проще и страшнее самых мрачных моих предположений. Я долго не мог прийти в себя, когда однажды вечером, дождавшись, пока все разойдется, влез в стол Вероники и прочел эти злополучные листки, исписанные черными чернилами.

"Я хочу обратиться ко всем читателям русского журнала и рассказать о том, что я сама лично пережила и узнала, всю правду. Пусть все узнают правду, какая она есть на самом деле.

Меня зовут Трушина, Фаина Петровна. Сама я родом из Люберец под Москвой. Детство у меня было тяжелое. Я сирота, воспитывалась теткой. Но все же, как говорится, вышла в люди, стала учительницей, преподавала в младших классах средней школы.

Замуж вышла рано, в девятнадцать лет, за Ароновича Виктора Пинхусовича, еврей по национальности. Жили неплохо, получили квартиру, родился сын. А потом началась эта эмиграция в Израиль. Муж начал настаивать: поехали да поехали, здесь кругом антисемитизм, и на работе зажимают из-за этого.

Когда приехали в Израиль, я вскоре поняла, какой это "рай" в кавычках. Поселили нас, извините за выражение, у черта на рогах. На работу муж еле устроился, а мне пришлось оставить свою профессию, и теперь я, преподаватель с почти двадцатилетним стажем, работаю бухгалтером.

Но это не самое плохое в нашей жизни, я видала в детстве и похуже. А самое плохое, что семейные отношения у нас с мужем стали портиться. Ему не нравилось, что я все критикую, то есть говорю правду, как она есть. На плохое говорю, что плохо. Он обвинял меня, что это я необъективно, а сам, между прочим, Россию поносил последними словами, все ему там не нравилось.

А самое плохое — то, что произошло с сыном. С самого начала начались к нему придирки, что он не еврей и, значит, не может быть полноправным гражданином. По требованию мужа, сын официально вступил в еврейскую религию, для чего ему пришлось сделать "обрезание". Это совсем не смех, а очень болезненная операция, он болел несколько дней. И это средневековое мракобесие происходит в наше время полетов в космос. Между прочим, в Советском Союзе, где все "не так", церковь отделена от государства и никого не заставляют креститься.

Сделав обрезание, он стал религиозным, и мне с ним трудно стало находить общий язык. Что я ни скажу — он поперек. А потом и вовсе перестал со мной разговаривать. Вскоре ушел из дома, потому что дома якобы вся еда не “кошер”, он есть не может. Отношения с мужем к этому времени совсем испортились, и мы решили разойтись, жить порознь, после чего я переехала в Тель-Авив, а они остались в Беер-Шеве.

Я хочу сказать главное: жизнь, которую я вижу каждый день вокруг себя, доказывает античеловеческую сущность национализма и сионизма. Это не “советская пропаганда”, как некоторые думали там, а самая что ни на есть правда. Я в этом убедилась на опыте своей жизни. Я много раз слышала и читала, что евреи “избранный народ”. Отсюда вывод, что другие народы — второй сорт, и с ними можно поступать, как с арабами, то есть завоевать. Война в Ливане — пример их “избранности”. И еще имеют наглость жаловаться на антисемитизм!

Говоря о войне в Ливане, я на своем примере убедилась в ложном характере всех этих разговоров о “единстве” евреев. Все это тоже сионистская пропаганда. Когда шла война, у людей здесь проснулись их звериные инстинкты, в магазинах и на транспорте началась давка, отталкивание локтями. В автобусах сефарды ругали ашкеназим, а ашкеназим называли их дикарями. Я всего этого насмотрелась вдоволь. И все это прикрывалось ложными разговорами о якобы обеспечении безопасности северных границ со стороны террористов и тому подобным.

Я могу писать об этом очень много, примеров достаточно. Я только хочу, чтобы русский читатель понял основное: в современном мире сионизм — главный враг людей на свете. И борьба с сионизмом — главная задача, которой не жалко отдать все свои силы. Я прошу русских читателей откликнуться на мою статью и высказать свое мнение. Я буду рада получить ваши письма — мы должны действовать сообща.

Мой адрес: ул. Теодора Герцеля, 12/8, Тель-Авив, Израиль. Мое официальное имя здесь — Ривка Арони”.

### Маргарита

(Пока не родится тело мое)

Мягкий снег в московских окошках... Проснувшись  
Она не заплакала  
Я знаю, шептала Маргарита, я знаю,  
Сегодня что-то случится. Кружится поземка,  
Дьявол взвихряет снег в московских окошках.  
В ином столетье, еще не родившемся,  
Словно призрак, бредет человек.  
Маргарита выходит на улицу, в руках у нее цветы,  
В глазах жажда, чтобы он отыскал ее, наконец.  
Бредет человек и не знает, где он найдет приют.  
— Ты приди, приди. Отворю тебе двери,  
Только приди поскорей.  
Бредет человек и не знает, не ведает, где он найдет приют.  
У Маргариты цветы увяли, у Маргариты слезы застыли.  
Мягко кружится снег, и душу ее похитив,  
Дьявол хранит ее,  
Пока не родится тело мое.  
Свирепое солнце над крышами Тель-Авива,  
Душа Маргариты у меня в горле  
Жажда ее у меня в глазах, цветы ее у меня в руках,  
Я стою на улице под палящим солнцем.

### Встреча

Спускаюсь к своей душе  
На встречу со своими костями.  
Вслед мне мертвецы  
Бьют в барабаны.  
Душное облако расплывается в небе моем  
Тревожные звезды остерегают меня  
Мертвецы сползаются словно крабы  
И я спешу на бой барабанов.

## Затянувшийся Пурим

Я еще наряжаюсь царицей Эстер  
Я еще прибегаю в садик  
Где воспитательница сияет: дети у нас  
Уже есть царица Эстер  
А Мирьям у нас будет Вашти.  
Еще возвращаюсь домой и ломаю корону  
Золотые бусы сыплются на пол.

## Порядок вещей

Покоя нет. Прежде всего — нет покоя.  
Кречет неистовый  
С кровли мечет клекот колючий.  
Я сломлена. Чашка выскальзывает из рук.  
А ночью —  
Схвачена ночью, кричу во сне: что,  
Что случится?  
Может, уже происходит сейчас?  
Кречет клекочет, брезжит рассвет  
И становится ясно и несомненно: случилось,  
Случилось то, что случилось, то, что прежде всего  
Обрушило тишину,  
Оглушило душу и руки.

## Возвращение

Вот и я  
И для меня избавленье  
Я уже не на самом дне  
Не растекаюсь, не рассыпаюсь в прах,  
Растерявши себя самое.  
Вот и я  
Наконец прозреваю, вновь нахожу жизнь,  
Вновь понимаю кашку и одуванчик:  
Напрягаются, тянутся из тьмы терновника,  
Раскрывают бутоны,  
Чтоб выслушивать птичий гам,  
Чтобы впитывать солнечный свет.

*Перевод с иврита Р. Левиной и Н. Воронель*

ОТКУДА, СОБСТВЕННО, ПЕТУХ?

— Бабушка! — воззвал Мишка. — А нет ли у тебя ткани? Ткани темной или светлой? Ткани красной и зеленой? Ткани желтой? Голубой?

— Желтая фланель найдется, Мишенька. А к чему тебе такая пестрота?

— Хочу я сделать петуха, бабушка. Петуха я сделаю, дяде подарю. Дяде Александру Федоровичу. Возьмет его с собой дядя Александр Федорович туда, где синее море, и пальмы, и солнце, и горы. Возьмет он его с собой, и будет смотреть на него, и разговаривать с ним. И станет петух помощником ему и другом... Как же у нас, бабушка, обстоит дело с тканью?

— Я уж тебе объяснила, внучек дорогой: есть у меня большой кусок желтой фланели. Из него сделаешь главные части своего петуха. На остальное тебе не ткань нужна, а лоскутки ткани. Они же у меня всякие найдутся.

По контрольным выкройкам Мишка изготовил лекала из картона. Взял он большие ножницы с прямыми лезвиями и вырезал из желтой фланели туловище, брюшко, голову и лоб. Из красных клеенчатых лоскутков вырезал Мишка гре-

*Яков Цигельман*

**ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО  
ПЕТУХА**

Повествование из современной  
жизни  
(куски из романа)

бешок, бородку, клюв, основание хвоста, ступни и хвост (две части). Из зеленого бархатного лоскута получился красивый нагрудник и два хвостовых перышка. Да еще два голубых перышка вышли из маминых замшевых туфель; старые туфли; мама их выбросить хотела, да бабушка в комод спрятала; вдруг пригодятся; вот и пригодились! И подглазники вырезал он из той же голубой замши.

И взял он катушечные нитки № 30 и № 40 разных цветов, а для оформления декоративных швов приготовил мулине. Тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы могли понадобиться для соединения частей петуха и оформления изделия. Вату — набить петуха — он надергал из старого бабушкиного пальто.

Мишка знал основные свойства ткани, умел определять долевую и уточную нити, отличал лицевую и изнаночную стороны, соблюдал правила раскроя. Потому разложил он выкройки-лекала на изнаночной стороне, учитывая направление нити, и аккуратно обвел мелом. (А мог бы и карандашом!) При размещении на материале парных деталей он следил, чтобы они не были выкроены на одну сторону; парные лекала он расположил симметрично.

Кое-что он раскраивал без припуска, а кое-что — с припуском. Неукоснительно соблюдал правила безопасности труда: ножницы клал справа, кольцами к себе, чтоб не уколоться об их острые концы, и всегда смыкал лезвия ножниц в нерабочем состоянии; следил, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могли поранить его самого или бабушку; передавал бабушке ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями; шил с наперстком, чтобы избежать прокола пальца; при шитье не пользовался ржавой иглой, так как знал, что она плохо прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец; во время работы он всегда вкалывал иголку в специальную подушечку, а не в одежду, не в стол, не в случайные предметы; никогда не перекусывал нитку зубами, чтобы не поранить губы, а сломанную иглу сразу же отдавал бабушке.

Затем он сшил петуха по средней линии брюшка, а брюшко поместил меж двух частей туловища и сшил каждую сторону между точками А и Б, А<sub>1</sub> и Б<sub>1</sub>. Верхнюю часть туловища между точками БВ, Б<sub>1</sub> Д и ДБ<sub>1</sub> он сшил так, чтобы линии АА<sub>1</sub>, ВВ<sub>1</sub>, ДД<sub>1</sub> остались незащитыми. Сшил ножки и соединил их с туловищем.

Скрутив из проволоки каркас, он обернул его полоской ткани, оставив концы свободными: каркас проходил внутри игрушки от линии шеи до конца ступни. Вставил каркас в туловище, а концы

его в ножки. Приколол две детали ступни в точке, которую заранее обозначил кружочком, и — загнул концы ног петель по величине ступни. Мелкими стежками (через край!) пришил нижнюю сторону ступни.

Тут и пригодилась вата. Он набил ею туловище: небольшими кусками; заполняя концы детали, помогая при этом себе карандашом. И надел он на туловище нагрудник, сшитый между точками ГГ<sub>1</sub> и ЕЕ<sub>1</sub>.

Голову он шил так, чтобы лоб был вшит по направлению стрелки от точки, обозначенной на чертеже крестиком. Оставшуюся часть головы сшивал по кругу, оставив место по линии шеи. Туго набил голову ватой и пришил ее к туловищу.

Гребешок он пришил к голове по вогнутой линии, а к нижней части головы пришил бороду. Теперь уже нетрудно было сложить обе части клюва, сшить их в основании и пришить к голове. Глаза и подглазники он приклеил.

Оставался хвост. Каждую часть хвоста Мишка слегка набил ватой, соединил их вместе и пришил к туловищу по линии ВВ<sub>1</sub>. Этот шов он закрыл деталью "основание хвоста" и зашил ее края декоративными нитками мулине.

— Это ты хорошо сделал! — похвалила бабушка. — Молодец!

— А по-моему, так очень хорошо, — без ложной скромности отметил Мишка.

— Желтый уж больно получился, — вздохнула бабушка, — да что ж делать, другого материала не было.

— Неординарный петух получился! — твердо сказал Мишка.

— Кукареку! — сказала бабушка. Петух молчал.

— Он не понимает "кукареку", — с улыбкой сказал Мишка, — он плохо говорит по-кукареку.

— Больно уж желтый, поэтому, — сказала бабушка.

— С виду он петух петухом, а если приглядеться, так что-то в нем не то, — сказал Мишка. — А если еще внимательнее поглядеть, так и совсем не петух.

— А кто же он? — с испугом спросила бабушка.

— А вот мы сейчас узнаем, — сказал Мишка, наклонился к петуху и пропел: — Ороророр!

Петух дернул лапкой.

— Надо же! — сказала бабушка.

— Урурурур! — грозно и глухо пел Мишка.

Петух вытянул шею, и нагрудник его бархатный замерцал.

— Вы подумайте! — приговорила бабушка.

— Ереререр! — потребовал Мишка.

И петух ответил. Низкой басовой трелью с повышением к концу он пропел:

— Кноррр! — и прямо взглянул в Мишкины глаза.

— Ху-ху-ху! — медленно сказал Мишка.

— Лю-лю-лю! — согласился петух.

— Ририри? — спросил Мишка.

— Ти-ти-ти, — устало ответил петух.

— Как же это понимать? — спросила бабушка.

— А так понимать, — сказал Мишка, — что он вовсе не петух, а...

— ...а канарейка! — весело подхватила бабушка.

— Вот именно! — сказал Мишка. — Он обладает поэтому приятным, мягким и глубоким голосом и обнаруживает, кроме того, хорошие способности к звукоподражанию... — и Мишка собрался было изложить бабушке историю канареек, но Петух сказал: — Тя-тя-тя!

— Такая трель называется "отбой", — сказал Мишка, — это значит, что он устал. Бедняжка, он ведь совсем новорожденный, то есть новосделанный. Измучился от переживаний, — и Мишка поставил Петуха на полку, чтобы денек-другой поглядеть на него и обнаружить недочеты, буде таковые найдутся. Петух глубоко вздохнул, всхлипнул и уснул.

— Хорошо тебе, товарищ, тебя матка родила. А меня — чужая тетка: матка в городе была.

## ИСТОРИЯ ПЕТУХА КАНАРЕЕЧНОЙ ПОРОДЫ, ИЗЛОЖЕННАЯ МИШКОЙ

Петухи канареечной породы произошли от простого скрещивания желтого кенара с пестрой курицей. Долгая жизнь в неволе пригупила зрение канареек. И вот однажды некий кенар, усердствуя весной после линьки, принял пеструю курицу за парижскую курчавую канарейку. Подскачив к ней вплотную, он растопырил крылья, приподнял хвост, взъерошил перья на головке и начал раскачиваться из стороны в сторону, распевая любовную песнь. Смущенная неожиданным приступом и восхищенная задорным и забавным видом его, она сказала:

— Птичка бедная страдает, радости лишась своей, и все силы истощает.

А тем временем кенар пел с самозабвением, надув свое горлыш-

ко и забавно вертаться в разные стороны. И пеструшка решилась, сказав:

— Пускай свершается со мной вышня воля, и если я умру — моя такая доля!

Даже самые опытные немецкие любители считали это дело мало-перспективным. Но прошло немного времени, и пеструшка снесла яйцо. Потом с перерывом в два и три дня она отложила еще по два яйца, и на этом кладка закончилась, а пестрая курица уселась насиживать яйца. Но дальше дело пошло хуже. Чего-то не хватало в организме для нормального формирования яиц: вывелся один птенец. Курица выкормила его.

Кенар неизменно проявлял исключительную заботу о курице, хотя и недоумевал. Как только курица слезала с гнезда, он осторожно садился на яйца, а после вылупления птенца с рассвета до темна порывался покормить его. Но этого замечательного семьянина курица перестала подпускать к гнезду. Угрожающе растопырив крылья и резко, неприятно кудахтая, она буквально исходила злостью. Кенар сидел нахохлившись в темном углу, страдая молча. Через некоторое время курица ушла, подталкивая перед собой желтого петушка. Кенар пропел ей вслед:

— Прелестьми гордясь, не лстися заменить легко меня. Нелегко найдешь ты, птица, кто б так верен был, как я.

Курица реагировала презрительным встряхиванием гузки. И кенар улетел, предварительно сказав:

— Я потерю не такую сделал важную в тебе. Ведь обманщицу другую скоро лзя найти везде.

В младенчестве Желтый Петух был обыкновенным цыпленком: желтым, пушистым и пухлым. Но и с возрастом его преобладающая желтизна не проходила. Полагали, что она есть признак его инфантильности, непроходящего цыплячьего состояния. Молодые курочки его презирали, а петушки задирали и даже бивали. Тоскою и отчаянием исходя, он думал, забившись в лесную чащу: "Здесь, под тенью древ ветвистых, ручей быстрый где течет и в струях прозрачных, чистых, золотой песок влечет; где при бледном лунном свете можно в вольности стенать — здесь, забыв о целом свете, стану грусть свою вещать". И он вещал свою грусть.

Мать его не любила, у нее завелась другая семья. Отца он не знал, друзей у него не было, курочки его отвергали. Из темных глубин подсознания всплывали неясные образы, слышались непонятные звучания, возникали смутные ощущения. Было так жутко, что

порой хотелось повеситься. И тогда Желтый Петух запел. Сначала он издал ряд отрывистых и довольно высоких звуков, похожих на удары маленького колокольчика. Потом, подражая ручью, он изобразил очень красивое колено, напоминающее звуки переливающейся воды. И, наконец, пропел глухим раскатом — то ровным, то повышающимся, то понижающимся и даже волнообразным. Испуганный своим пением, Желтый Петух замолчал и прислушался. Было тихо, только журчал ручей, влеча золотой песок. И сквозь журчание ручья и лесную тишину Желтый Петух различил призывное “оророр”. Он пошел на эти звуки и вышел к дому, на балконе которого стояла клетка. На жердочке из молодого побега орешника сидела и пела птица. Она была густого шафранного цвета без всякой примеси. Увидев Желтого Петуха, птица спросила:

— Ереер?

И Желтый Петух ответил:

— Кноррр!

Так Желтый Петух узнал, что он принадлежит к канареечной породе. Он стал сторониться своих соседей по птичьему двору, перестал пытаться кукарекать и стал искать возможности покинуть птичий двор навсегда. Предполагая уехать с дядей Александром Федоровичем и не имея способов извлечь из клетки знакомую канарейку, он пропел ей на прощанье:

— Будь, любезная, здорова, весела. Знать, ко мне моя судьби-нушка пришла!

## НАЧИНАЕТСЯ ДОРОГА

Ноябрьским утром к дому на углу Столярного и Гражданской подъехал грузовой фургон объединения “Ласточка — перевозка мебели”. Дворник Настя открыла ворота под низко нависшей аркой. Ласточкин фургон задел никому ненужную после появления автотранспорта чугунную тумбу, прочертил неширокую линию на своде арочного пролета, похрипел во дворе, вывернул налево к бывшим дровяным сараям, весело попрыгал по остаткам булыжника и остановился у одной из черных лестниц. Парадные с улицы были заперты и однообразно, крест-накрест, заколочены досками: Шарафутдинов-Подольский, Настин муж, был уверен, что ей не разорваться следить за всеми входящими с улицы во все четыре парадные.

Сейчас он стоял на приступочке черной лестницы, склонив голо-

ву к левому плечу, и наблюдал эволюции Ласточкина, который разворачивался передом к выезду, задевал всеми своими закраинами мусорные баки, ломал ветвистые палки, обнесенные в последний субботник заборчиками из щепок, испугал Мишкину бабушку, вышедшую вынести мусор, и разрушил рыцарский замок на песочнице. Замок рухнул, издав странный для него звук лопнувшей пластмассы, звук, нерасслышанный никем, потому что все вдруг кончилось, и на барабанные перепонки наступила тишина.

Ласточкин вылез, выматерился и пошел к Шарафутдинову-Подольскому, который стоял все там же, но голову от плеча отнял.

— Чего парадное-то закрыл? — спросил Ласточкин, разозленный присутствием свидетеля его неуклюжих выкрутасов. Шарафутдинов-Подольский отступил на шаг, прижался лопаткой к притолоке и спросил:

— Скажут ли мне, наконец, что у нас сегодня за суматоха?

Ласточкин подумал, хотел сказать нечто насчет Казани уевоу (многим известно, что у меня этой буквы в машинке долго не хватало), взглянул внимательно на Шарафутдинова-Подольского, подумал, поиграл желваками и спросил:

— Девятнадцатая квартира — где?

Шарафутдинов-Подольский улыбнулся и взял под козырек. Шофер еще поиграл желваками, осмотрел синюю табличку с белыми цифрами и двинулся по лестнице на второй этаж. А Мишкина бабушка уже добралась к тому времени на свой четвертый и вошла в кухню, где чадили конфорки двух газовых плит, грозно и деловито рычала стиральная машина "Полет" (вчера был банный день) и лежала на полу борзая Корделия, узкой аристократической мордой уткнувшись в мусорное ведро, принадлежавшее ее хозяину, толстому Витьке Фитингофу из телевизионного ателье. Об Корделию спотыкались, на нее плескало из соседнего помойного ведра. Корделия терпела,лизывала ушибленное место, показывая всем своим серым изящным телом, что она совсем у стенки лежит и никому, собственно, не мешает. И опять утыкалась носом в хозяйское ведро.

— Он заберет когда-нибудь кабысдоха своего? — спрашивала Марья Тихоновна. Она работала буфетчицей и ко всему на свете относилась, как пояснял Витька, потребительно.

— И что вы от собаки хотите, Марья Тихоновна! Кому она мешает, лежит себе и лежит, — сказала рыхлая старуха Татьяна Ивановна. — Иди сюда, Корделька, иди, собачка!

Корделия вежливо посмотрела на нее и опять уткнулась в ведро.

— Ишь, какая принципиальная! — молвила Татьяна Ивановна. Избавляясь от обиды, прошептала: "Корделька-сарделька, сучка подлая, жидовка!" и оглянулась. Телевизор у нее постоянно портился.

— Не волнуйтесь, Марья Тихоновна, — сказала Дуся и на краткий миг оторвала глаза от кастрюльки с манной кашей. — Не будет у нас скоро нашей Корделюшки. Видите, как тоскует, — тут Корделия взглянула на нее продолговатыми глазами английской красавицы восемнадцатого века. — Продает ее Витька!

— Ну да? — воскликнули разом Марья Тихоновна и Татьяна Ивановна.

— Да-а, — протянула Дуся и сняла кастрюльку с огня, — уж и продал, кажется.

— Кому же? — спросила Марья Тихоновна.

— Шарафутдинову, — ответила Дуся и пошла вон с кухни, неся кастрюльку перед собой.

"Зачем же Шарафутдинову понадобилась элегантная, утрированно сухая борзая, увековеченная поэтами, прозаиками и художниками за красоту, резвость и отвагу?" — подумали одновременно Марья Тихоновна и Татьяна Ивановна, поглядели друг на друга и в удивлении пожали плечами, не умея это понять.

Мишкина бабушка сказала дочери:

— Машина пришла за вещами.

Дочь ее Соня кивнула, еще раз взглянула на себя в зеркале шкафа, тронула пальцами виски, надела польскую шерстяную кофту, сказала:

— Я зайду. Может, надо помочь, — и вышла, глядя в сторону.

Мишкина бабушка присела к столу, что стоял посредине комнаты, посмотрела в белесый просвет окна, вздохнула и сказала "вей'з мир!", потом покачалась туда-сюда, опять вздохнула и не сказала ничего.

Анна Абрамовна, услышав подъезжавшего Ласточкина, побледнела так же, как побледнела Анна Павловна, увидев из окна ямщика с подъезжавшей тройкой. И ноги у Анны Абрамовны подкосились так же, как у Анны Павловны, и руки опустились. Здесь другого и быть не может.

"Бедная мать! Того ли ожидала ты?" — подумал из Гончарова Желтый Петух, прозябавший пока на шкафу.

— Настасья! — произнес Шарафутдинов-Подольский и отодвинул чашку с надписью "кого люблю, тому дарю". От батареи парового отопления шел приятный жар. Шарафутдинова-Подольского размогло, и голос его прозвучал не так строго, решительно и безапелляционно, как он хотел, когда готовил сегодняшний утренний разговор — непременно утром и обязательно после завтрака. Насте этот тон был вполне знаком: таким манером ее Коля просил денег на опохмелку. Но вчера он не пил, как не пил уж почти месяц. Это пугало Настю, и вот сегодня она предполагала за обедом распить с Колей поллитра любимой "зубровки". И жирных щей наварила Настя вчера. И вчера же маленького Валерку отправила к бабушке.

— Настасья, — продолжал между тем Коля Шарафутдинов-Подольский. — Я уезжаю.

"Да пусть тебя черти унесут!" — могла бы сказать Настя, но вспомнила о тоскливой доле одинокой женщины с ребенком. И пока она вспоминала и раздумывала, Шарафутдинов-Подольский, удивленный молчанием Насти, повторил:

— Уезжаю я, Настасья.

— Куда же? — испуганно спросила Настя.

— А в государство Израиль, — ответил Шарафутдинов-Подольский и приосанился.

— А как же я? — жалобно спросила Настя.

— А ты — остаешься, — ответил Шарафутдинов-Подольский.

— Ты разве — еврей? — со страхом спросила Настя. — Ты ж Шарафутдинов. Татарин, значит, — сказала она и замерла: вдруг почувствовала, что перед нею сейчас раскроется тайна, какая раскрывалась в детстве в сказках про колдунов. И тайна эта тотчас раскрылась. Потому что Коля сказал:

— Я — Подольский. Значит, еврей, — помолчал и добавил: — Я — казанский еврей.

Тайна раскрылась перед Настей именно так, как раскрывалась в детстве: ведь можно было догадаться сразу, но не догадывалась, и — вдруг... И Настя заплакала. От испуга она побледнела, лицо ее скисло, губы скривились. Смотреть на Настю было неприятно, и Шарафутдинов-Подольский отвернулся.

Дворницкая, по которой он заскользил сейчас рассеянным взглядом, была не то чтобы тесной, она была просторной. Большую часть обстановки Настя насобирала на помойке, когда жильцы обза-

водились новой современной мебелью и выбрасывали старую. Кое-что Насте дарили за услуги, а кое-что она прикупила сама. Потому и оказалось здесь павловское кресло с изрядно поношенной зеленой обивкой, прикрытой украинскими расшитыми "думками". Над ним в золоченой барочной раме висела купленная на Сенном рынке картина, изображающая охотника на уток, самих уток, летящих к оранжевому солнцу, и кусты смородины на первом плане. Три венских стула стояли у стола, новомодно приткнутого к стенке. Две табуретки не мешали венским стульям изящно изгибаться, а только унижали себя попыткой втереться в приличное общество. Кровать с шишечками удивлялась хитроумию немецкого раскладного дивана. Зеркало, в красную раму которого были засунуты фотографии Насти, Валерки и деревенской родни, висело у печки, Коля не позволил выкинуть печь, когда провели паровое отопление. Вот все вместе и было дворницкой, по которой скользил лениво взгляд Коли Шарафутдинова-Подольского.

На самом-то деле его звали не Коля, а Евсей. Так же звали какого-то его предка; он уж и не помнил — какого, да и знал ли когда. Евсеем он был по паспорту; дворников Евсеев в наше время не бывает; никто его так не звал: это был бы просто анекдот, если б дворник был Евсеем. Евсеем может быть доктор, но тогда его зовут Евсей Маврикиевич, он лысый и пожилой, а голова у него редькой вверх.

Поэтому Шарафутдинова звали Колей. Почему же не Васей? — спросите вы, не догадываясь, что Шарафутдинов не может быть Васей. Если Шарафутдинов, то он, скорее всего, Коля, как и оказывается на самом деле. А уж Евсеем ни в коем случае: из Евсея не получается ни Вася, ни Коля.

Могла бы Настя быть Аграфеной? Мочь-то она бы могла, но кто бы ей позволил? Дворник может называться Зиной, Лидой, Верой, Тосей или Настей, но уж никак не Аграфеной. Впрочем, Аграфена и не была дворником.

И вот что забавно и примечательно: адуевскому дворнику можно было зваться Евсеем, а Шарафутдинову-Подольскому такое было не с руки. А — почему? А — потому. И наше дело факт сей отметить. Мы и отмечаем, что Шарафутдинову-Подольскому не с руки было зваться Евсеем до поры до времени.

Шарафутдинов-Подольский крякнул и махнул рукой. Настя опомнилась и сказала:

— Как же я-то, Коля? Я ведь жена тебе...

— Настя, — заговорил Шарафутдинов-Подольский, — ты мне не жена. Ты мне — ответственная квартиросъемщица. Я у тебя снял угол. И все. А остальное никого не касается.

— А спал ты с кем?

— А что я спал с тобой, так я, выходит, тебе сожитель, а ты мне — сожительница. ОВИР сожителей за супругов не считает... Я тебя, может, и взял бы с собой, но ОВИР не разрешит. Ясно тебе?

Настя была законопослушной гражданкой, и законы она знала, поскольку неоднократно бывала понятой при обысках и арестах. И что сожительницей Колиной была, она тоже знала, но забыла, не думала про это: зачем, когда вон сколько баб — и Зинка, и Лидка, и Верка, и Тоська — не имеют постоянного сожителя, а так, случайно с кем познакомятся на краткий период — и ладно. А теперь вот и она, Настя, без мужика останется, подумала она и запела тихо и тоскливо:

— Девки, пойте песенки, я упала с лесенки, со высокого крыльца шмякнулася, как овца, с верхней со ступенечки. Жалко прихехенечки!

#### **ЖЕЛТЫЙ ПЕТУХ, НЕСОМЫЙ В ПОДАРОК, РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ОСОЗНАНИИ САМОГО СЕБЯ**

Кто я? Внешне никто не отличит меня от петуха. Но кто приглянется ко мне, тотчас обнаружит, что слишком я желт для обыкновенного петуха.

А разве я кенар? Кто они и кто я? Немного я знаю про них, то есть про нас. Главное знание мое идет из каких-то моих глубин. Мне кажется, я помню ровный климат и богатую природу наших островов, завоеванных испанскими конкистадорами еще в пятнадцатом столетии. Силой оружия они подчинили себе коренное население и прочно обосновались там. Они подчинили себе и наши колонии на островах Мадейра и Порто-Санто.

Какими же были мы там? Маленькие, невзрачные, на вид желтоватые. Или зеленоватые? Из источников известно, что мы были желтовато-зеленоватые. Или — наоборот: зеленовато-желтоватые. Может, предки наши были больше похожи на меня, чем на нынешних несомненных своих потомков?

В Европе называли нас так, как называли нас испанцы: "канарио". И мы забыли свое самоназвание. Но когда французы впервые познакомились с нами, они называли нас сиренами. Это дает основание

предположить, что мы происходим от тех самых сирен, с которыми впервые познакомил европейцев Одиссей. (Не нами ли была основана Одесса?) Итак, появляется множество различных предположений. Ведь научное наше имя — серинус канариа. Возможно, нашими предками были сказочные существа, завлекавшие людей своим необыкновенно красивым пением. А птица Сири́н — наш ближайший предок во времени. Значит, писатель, взявший себе человеческий псевдоним Набоков, был на самом деле одним из наших, когда не стеснялся своего происхождения и имени? О! Какой гордостью меня это наполняет!..

Наша кажущаяся невзрачность сначала разочаровывала. Но мы сильны были не внешностью нашей, а внутренней красотой, то есть пением. Как только мы начинали петь, мы становились предметом всеобщей любви и восхищения. Нас помещали в драгоценные клетки с серебряными и золотыми прутиками, украшенные жемчугом, или в просторные вольеры с диковинными растениями.

Конрад Гесснер писал в 1555 году, что нас привозили в Европу, предварительно выдержав в неволе у местных жителей. Неволья у богатых и знатных европейцев была, конечно, нам больше по душе, чем неволя у бескультурных местных жителей. Но привезенные в Европу в диком, только что пойманном состоянии, мы выживали с трудом, и большая часть нас погибала. Может быть, именно погибшие помнили древнюю историю нашей культуры? Прошедшие неволю у местных жителей и родившись в европейской неволе, мы уже ничего не знали и знать не хотели.

Когда в Европе нас стало много, интерес к нам упал, нас стали меньше ценить. Мы решили применить к обстановке, и на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков постарались мы поменять окраску. В потомстве канареек зеленого цвета стали появляться чисто желтые особи. Такое превращение, связанное с изменением условий существования, произошло почти одновременно во всех странах Европы и вызвало сенсацию среди любителей.

В 1700 году уже было известно около тридцати вариаций окраски, в том числе несколько желтых различных оттенков. Мы не остановились на желтом лишь цвете, а продолжали поиски наиболее приемлемого и приятного для окружающих цвета. Среди нас появились белые, коричневые, агатовые и коричневые с желтым оттенком. Впоследствии мы сумели даже поменять форму тела, и среди нас появились так называемые фигурные породы; например, горбатые бельгийские. Мы различались среди себя размерами: гигант-

ские манчестерские и мелкие глостерские. Мы стали непохожи друг на друга особенностями оперения: хохлатые и курчавые. Мы перестали отличать друг друга среди похожих на нас птиц! И особенно плохо стало, когда под влиянием обучения менялось наше пение. Иначе любая курица могла стать канарейкой! Поют же они петухами!

Интерес к нам возрастал, и нас стали вывозить в Россию, Турцию, Китай, Японию, в Северную и Южную Америки, в Австралию и Новую Зеландию. Вскоре мы покорили весь мир!

Нам чужды были расовое превосходство и сословная неприязнь. Канарейки и кенари стали спутницами и спутниками жизни людей самых различных классов и профессий. В роскошных особняках европейской аристократии наше присутствие своеобразно украшало женщин: знатные дамы принимали гостей с собственной канарейкой на пальце. Нас можно было встретить и в кабинете политического деятеля, и в каюте капитана океанского корабля. Мы никогда не гнушались трудовым людом и жили с ремесленниками, рабочими, клерками, мелкими лавочниками, с портнихами, с гувернантками и с сельскими врачами. Мы стали символом провинциального, тихого, теплого, уютного образа жизни.

Мировые войны дважды тормозили наше развитие. Некоторые любители много усилий приложили, чтобы спасти лучших из нас. Французы, например, спасаясь от гитлеровцев, прятали нас среди другого имущества, погруженного в детские коляски и на велосипеды.

Во время второй мировой войны погибло огромное количество канареек. Однако после войны любители с удвоенной энергией взялись за прерванное дело. Но они плохо знают нашу жизнь, не всегда разбираются в наших биологических особенностях и свойствах; режимы существования, которые они для нас создают, нам не всегда подходят: они не понимают, что в неволе можно содержать только совершенно одомашненных канареек.

К. Болле утверждает, что мы совсем иные в родной для нас обстановке, в залитых солнцем цветущих садах и долинах, среди роз, жасминов и кипарисов. "В воздушных высотах, — пишет он, — теряется твердость звука, песня звучит гораздо красивее, чище и звонче. Западающие в душу грудные звуки производят особенно сильное впечатление именно в исполнении дикой канарейки".

— Смолкни, птишка-канарейка! Полно звонко распевать! — загрустил Желтый Петух. — Перестань ты мне, злодейка, ретивое надирать!

Его зовут Александр Федорович Абольский, 1934 года рождения, еврей, постоянно прописан на Гражданской улице. Белокурый молодой человек с крупным носом, в цвете сил и лет. Он и через сто лет молод, хотя ему далеко за тридцать. Удивительно, как школьные и студенческие годы продлевают молодость! В свои "далеко за тридцать" не мог бы он командовать полком, возглавлять общественно-политическое движение, умереть на дуэли, написав томы, и выстроить семью.

Отца нашего героя звали Натан. Происходя из раввинской семьи, он сумел точно перевести свое имя, как Федор; имя стало, таким образом, указывать на глубокую связь с русской почвой. Но наш герой смущался, когда его называли по имени-отчеству, и мы станем называть его АФ.

Александр Федорович Адуев ехал в Петербург, а вот АФ — из Петербурга. Александр Федорович Адуев отправился в дорогу однажды летом, а вот АФ — поздней осенью. Середина прошлого века была летней порой Российской империи, несмотря на проигранную Крымскую кампанию — а что же такое семидесятые—восьмидесятые годы, как не глухая осень?

Москва не сразу строилась, а Петербург — сразу; приехав в Москву, люди сначала осматривались, а потом обстраивались; ставили дома там, где им нравилось жить, где жить им было удобно. Москва оставалась столичным городом при Петербурге-столице. Москва была столичным городом азиатского Русского царства, Петербург же — столицей, подтверждавшей европейские претензии Российской империи. Перенос столицы из Петербурга в Москву означал исконное желание русских вернуться к азиатской символике: ханский шатер должен находиться в центре стана. Большевицкий интернационализм обернется, как мы теперь знаем, возвращением к азиатским корням. "Скифы" были написаны незадолго до переезда русского правительства в Москву.

Это вот Москва не сразу строилась, а Петербург — сразу. Сначала построили, а потом — поселили в нем людей, чтоб жили, как приказано. А приказано было жить, как живут в Европе. Петербург не строили, чтоб в нем жить; его создали, чтобы осуществить мечтаемое. Город останется самим собой и без людей. Но и пустым скелетом на ветру он будет называться так, как был назван.

Петербургские жители объявили Европу своей второй родиной

и были правы: нерусский город Петербург стал окном в Европу. Через это окно проникал свежий европейский воздух; веяния этого воздуха смешивались здесь с азиатскими запахами. Тем дело и заканчивалось, потому что через окно можно смотреть, обозревать, дышать, наконец. А ходят не через окно, а через дверь. Через окно сигают, что петербуржцы иногда и делали. Постепенно петербургские жители из Петербурга исчезли. "Петербургу быть пусто" — не пророчество, а результат логических рассуждений.

Выходит, что Александр Федорович Адуев ехал в город населенный, а АФ уезжал из города пустеющего. А может быть, и — опустевшего. Не раз переименованного по соображениям мечтательным, то есть идеологическим, а все-таки неизменного: как был задуман. Приведенного к ранжиру "родимого губернского города": по приказу азиатской Москвы выселяли дворян (как вселяли, так и выселили), петербургских жителей расстреливали и выгоняли за границу, потом они вымирали в блокаду, потом Москва сотворила "ленинградское дело" и "дело врачей", переменив состав населения, перестроила Невский и заслонила красными полотнищами ложноклассические фронтоны.

АФ ушел из дому с утра, встретился с Димой Поспеловым в метро у канала и отправился бродить с ним по городу.

— Грустно будет без тебя, Саша, — говорил Дима, уперев рыжую бороду в грудь. — А признаться, так не только без тебя, а и без вас всех. Ты погляди, как город пустеет... По Невскому теперь скучно ходить — знакомых лиц почти нет. Понимаешь ли, что это значит? Уходят те, кто знал меня всю предыдущую жизнь, от самого детства до старости. Это — как если б я прожил до ста лет, а все мои ровесники, друзья, приятели, все близкие мне люди умерли до меня. Они умерли, а я живу еще почему-то... зачем-то... Вы все исчезаете, как на тот свет... Город пустеет, краски города тают, друзья уходят в никуда... А письма — это вроде спиритического сеанса: связь с потусторонним миром, — добавил Дима и совсем пригорюнился.

Долго они молча шли по гранитным плитам, чистым после дождя и особенно звонким в такие осенние утра. Не шевелясь лежали на плотной воде канала опавшие листья, не шевелился и пряный осенний воздух, звук шагов ударялся гулко в стены домов и затихал смиряясь.

Говорить было не о чем, все было переговорено — так и бывает перед отходом поезда. О чем ведь ни заговори, все некстати: о важном — не место, да и не хватит уже времени говорить о важном.

А о неважном говорить — только себя занять и отвлечь от грустных мыслей. Стоит ли отвлекаться от грустных мыслей в минуты расставания, когда именно грустные мысли так милы тоскующему сердцу и так сладки?

Можно ли было ожидать от Димы каких-либо наставлений и советов для будущей жизни АФ? Что такое мог он сказать про ту сторону? Несуществующее здесь пребывало там, а здесь сущее исчезало там же, становилось призрачным, тающим, зыбким. И забывалось.

Они давно миновали скрежещающий трамвайными колесами перекресток между тремя улицами и рекой; махнув рукой, прошли мимо книжных магазинов и направились к вьетнамскому кафе на углу. Вошли, вдохнули унылый запах спитого кофе, оглядели стойки и столики, вздохнули по поводу отсутствия Дины, которая одна понимала, что такое тройной и четверной кофе; никого не увидели и хотели было пойти в ирландское кафе. Но передумали, потому что там тоже не было общих знакомых, а только плотные юноши с сертификатами; с ними знаком был АФ, а Дима их не знал, да и знать не хотел: скучные разговоры все о том же, самодовольные взгляды свысока на остающихся и такая странная уверенность, что все их поступки не просто правомерны, как бывают правомерны поступки людей, желающих поступить так или иначе, но сочетаются с требованиями высшей справедливости. В ирландское кафе решили не ходить тоже.

Можно было бы попить кофе где-нибудь еще или, если уж на то пошло, у Димы; кофе у него всегда найдется. Они бы так и сделали прежде, когда никто никуда не спешил, а если и спешил, так разговор в тесной комнате, пропахшей книжной пылью, был куда как важнее всяких дел, которые подождут; а если не подождут, так и не надо, и — найдите сами подходящее выражение, — что за делячество такое, в самом-то деле!

Все можно было прежде, но не теперь, когда один из них спешил, и торопился, и боялся опоздать, а другой не решался ни на важный разговор, ни на развлекающий. А потому осталась невыпитой чашка кофе и во вьетнамском кафе, и в ирландском, и не зашел АФ выпить дружескую чашку кофе к Диме, и не было между ними никакого разговора, потому что спешил АФ туда, где станет вспоминать с тоской и досадою на себя, что не выпил эту чашку кофе и не договорил этого разговора; эта чашка кофе и этот разговор станут так же невозстановимы, неосуществимы и невозвратны, как

добрые и ласковые слова, не сказанные вовремя близкому человеку, внезапно умершему; не родились зачатые слова.

Они обнялись и расстались навсегда, хотя АФ и спросил: "Ты придешь проводить?" — а Дима утвердительно кивнул, зная, что не придет: ничего больше они друг другу не скажут; нечего больше говорить; да и как сказать, если народу будет битком, все чужие и ненужные для последних прощальных слов.

И Дима Пospelов пошел к себе домой пешком, поднялся на свой пятый этаж, сварил себе кофе и расстелил на диване постель, лег, глотнул кофе, взял "Джатака-каламу" и стал читать джатаку о шуме некстати, о петухе, который погиб потому, что некому было воспитать его. Дима читал: "Заканчивая свой урок дхаммы, Учитель истолковал джатаку, сказав: "Петухом, кукарекавшим не ко времени, был в ту пору этот самый бхиккху, учениками брахмана были ученики Пробужденного, наставником же — я сам".

#### АФ ЕДЕТ НА ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Расставшись навсегда с Димой, АФ влез в троллейбус и отправился на 8-ю линию, глядя привычными глазами на привычно мелькавшие за окном улицы, дома, сады, переулки, и переехал Неву, даже ее не заметив; глядя и, можно сказать, совсем не видя; представляя, что там, далеко, где в ноябре тепло и цветут розы и олеандры, все будет совсем не так, а гораздо интереснее и живее. Там он опубликует свою книгу, которая всех поразит; и станет знаменит, потому что написал такое, что никому в голову не придет написать; никто и не знает там про здешние реалии жизни; правды никто не знает, а если и знает, то понимает не так. Ах! Он много думал обо всем этом и обсуждал с Димой и Малюшкой, и столько в Публичке просидел и в доступных архивах, собирая материал, выписанный на пятнадцать тысяч карточек. А потом столько работал, и вот написал наконец, и не знал, куда же все написанное девать; и так вовремя подоспел отъезд, и так славно оказалось, что все предыдущие годы правильно жил: ни допуска не было, ни ненужных деклараций. И теперь можно вот взять и сесть на самолет, улететь отсюда, где ничто нельзя закончить достойно, и — опубликовать дело всей жизни.

Глаза АФ сияли, губы он многозначительно поджал, толчки соседей его не раздражали, но даже веселили. "Все, все, все, — думал он, — теперь-то и начнется".

И пробилась к нему сквозь троллейбусный народ старушка в старобабьей плюшевой телогрейке. Взглянула на него, прямо в глаза посмотрела и сказала:

— Что ж ты, милочек, носатый такой? Видно, твой нос на просторе возрос!

Троллейбусный народ заулыбался. АФ же решил промолчать.

— Собрался ехать, голубочек, или еще раздумываешь? — продолжала старушка. — Ты не раздумывай, милочек. Ты ехай, ехай! Не оставайся!

Троллейбус остановился, и АФ вышел из него. А старушка пропела ему вслед:

— До чего ж ты дострадался, один клюв большой остался!

## **САМОЛЕТ ПРИЗЕМЛЯЕТСЯ**

Самолет национальной израильской авиакомпании "Эл—Ал" приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

## **ИЗ "ОСТРОВА" (ч. 2)**

### **СБИВШИСЬ С ПУТИ, ЖЕЛТЫЙ ПЕТУХ ПРИБЫВАЕТ НА ОСТРОВ**

Крутятся и биясь в неистовых водоворотах, он выносился на поверхность, чтобы через мгновение погрузиться в мрачную морскую бездну и всплыть вновь. В потемневшей синеве слышались раскаты грома, и огненные змеи, извиваясь, стремились к огромной чаше моря.

Никто не знает, что случилось бы с ним, если б не застрял он в зарослях кораллового рифа, а безумная волна не подтолкнула бы его в тихую лагуну, откуда его понесло по ложбинам меж прибрежных скал, поволокло потоками шумных дождевых ручьев. Он погрузился в глубокий овраг, наполненный ревущей водой, и поплыл меж холмов по дороге, превратившейся в раздольную реку.

Волею случая же он оказался под широко разросшейся смоковницей, на берегу разлившейся горной речки, скорости которой стало бы на вращение турбины электростанции для снабже-

ния электроэнергии целого уездного города. В этом месте магма, внедряясь в литосферу, поднялась на поверхность земли и вылилась на нее в виде горной базальтовой породы плотного строения, в состав которой, кроме плагиоклаза, авгита и оливина, входит также магнитный железняк. Зацепившись за темную, очень тяжелую глыбу, успешно сопротивлявшуюся разрушительному действию атмосферных агентов, он остановился, замер и плавно закачался на зыби спадавшей воды.

Цвета он был когда-то густо-коричневого, но теперь пожелтел, разбух и покорежился. Никелированные застежки несли на себе ржавые следы перенесенных странствий. Никелированные же наугольники с заклепками, выпадающими из гнезд, с трудом удерживали конструкцию в напряженном состоянии. Он был весь обклеен этикетками разных авиакомпаний, яркий глянец которых не погас, но совсем не шел к размытым чертам его и к измученному, покореженному его объему. Он напоминал матроса, изгнанного с корабля за пьянство и дебоши, а этикетки — записи в матросской книжке.

Аэрофлотовский обезглавленный орел, туловище которому заменяли слившиеся в противоестественном соитии серп и молот, нагло укрепился в самой середине крышки. Бьющаяся в замкнутом круге птица польского "Лйота" прилепилась рядом. Белоголубая эмблема израильской авиакомпании торчала из-под крылатой австралийской кенгуру. По четырем углам симметрично расположились незамысловатые эмблемы Югославии, Австрии, бельгийской "Сабены" и Чехословакии. Шриланкский горный козел стоял на трех ногах, держа в четвертой ноге саблю. Индонезийский дракон размахивал крисом с волнистым лезвием. Среди рогов мадагаскарского козла проросла гордая пальма. Три крокодила на желтом поле символизировали возрождение, флору и фауну государства Мали. Две черные обезьяны, держась неизвестно на чем, подпирали желто-зеленый герб Габона. Солнце всходило из-под масонской пятиконечной звезды Марокканского королевства. Тут и там высывались обозначения разнообразной национальной гордости: тайландская виньеточка в виде носа уточкой; два волнистых росчерка исландских гейзеров; египетский сокол, похожий на лошадь Хабибулина, примыкал к нарисованной старательным школьником рождественской елке на ливанском гербе; летел к звездам независимый Камерун; два резца, запломбированные маленькой коронкой внизу слева, обо-

значали иорданскую авиакомпанию с еврейским названием; шесть головоломно сплетенных кружков напоминали о великом прошлом Эллады и о незатейливых изделиях умельцев пирейского базара. Тройка лаосских слонов, запряженных в пагоду, небрежно свисала с обломавшейся ручки чемодана, который теперь плотно лежал на базальтовой глыбе под смоковницей среди отступавшей воды.

Крышка приподнялась, разноцветным гляncем на солнце сверкая, и в образовавшуюся щель выпорхнула канарейка. Она взлетела косо вверх, села на ветку и прорезала воздух сильной се-ребристой трелью. Крышка чемодана еще раз приоткрылась, кто-то изнутри подпер ее резной подпоркой красного дерева и спросил:

— Вернешься ли ты ко мне, мой нежненький дусик?

Канарейка пропела "ти-ти-ти!" и упорхнула. Желтый Петух (а это, конечно же, был он!) улыбнулся ей вслед, подпер крышку другой резной подпоркой красного дерева, поправил лаосский герб, чтоб держался ровно посередине, сбросил с себя верблюжье одеяло кирпичного цвета с белыми розами и огляделся. Его взору открылось чистое светлое небо, озаренное мягким блеском утреннего солнца, и темно-синее, еще беспокойное море, катившее свои волны без пены и рокота под напором свежего ветра. Желтый Петух глубоко вздохнул и запел. Он пел:

— Матросы мне пели про Остров, где растет Голубой Тюльпан. Он большим отличается ростом, он огромный и злой великан. А я пил горькое пиво, улыбаясь, тирьям-пам-пам! Так редко поют красиво в нашей земной пам-пам!

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ ДРУЗЕЙ

**Корделия — Желтому Петуху.** Мой дорогой друг, спешу рассказать Вам о моем новом знакомстве. Вернее, о возобновлении старого знакомства. Мы познакомились на выставке. Нет, не здесь, а еще в России. Нет, не так... Просто не знаю, с чего начать...

Его зовут Аркаша. Полное имя — Аркадий Сулугундзев. Но он такой большой, что все зовут его Аркашей.

Аркаша является сен-бернардом только наполовину: мать его была сен-бернар. Русской речи он учился у домоправительницы Ольги, из книг да в играх с мальчишками, их он особенно любит,

выделяя из прочих людей, к которым у него природно доброе отношение.

Он рос и воспитывался в Подмоскowie. Его хозяин, Автандил Сулугундзев служил прежде в охране. Потом поселился на подмосковной даче. Там ему было скучно после бурно проведенной жизни, и он стал писать мемуары, куря в остальное время трубку. Но потом и это ему наскучило, и он решил взять кого-нибудь на воспитание, чтобы оставить воспитаннику свое прославленное имя. Детей он не переносил, потому что дети всегда тянутся рассыпать табак и поиграть трубкой. Он решил взять на воспитание породистую собаку, предполагая воспитать в ней впоследствии преданность, резвость и необходимую для практической жизни жесткость характера. Кто-то посоветовал ему Аркашу. Автандил прельстился Аркашиным ростом и шерстистостью, позабыв осведомиться о родословной, а также о качестве породы. Каковы же были его удивление и досада, когда он обнаружил в своем питомце врожденную любовь к людям! И вообще ко всем живым существам! Радостно-оптимистическое отношение Аркаши к окружающему миру оскорбило Автандила. И тогда наметилась у них проблема отцов и детей.

Автандил надеялся на свой опыт и решил переломить Аркашу. Он поощрял малыша бегать с мальчишками разорять птичьи гнезда и ласково улыбался в усы, когда слышал невдалеке жалобный писк разоряемых галчат. "Джигитом растет! — говорил он своей домоправительнице Ольге. — Добрый джигит будет!" "Помилуй, Автандил Богданыч, — со слезой в голосе возражала домоправительница Ольга. — Не проходит и дня, чтоб скандала не было! Намедни опять с разорванным носом пришел!" "И что это за пес, чтоб ни разу ни себе, ни другому нос не порвал!" — говорил Автандил со смехом.

Домоправительница Ольга поплачет, поплачет, потом сядет за фортепиано и забудется за Шопеном; слезы каплют одна за другой на клавиши. А Аркаша мучился и от слез домоправительницы Ольги, которую любил, как родную мать, и от необходимости побороть свою добрую натуру, почитая себя обязанным это сделать, коли хозяин требует; и от невозможности свою натуру победить. Мягко ступая лапами, он подходил к домоправительнице Ольге и совал свою лохматую добрую морду к ней на колени. Она гладила его, называла ласковыми именами и прозвищами и тотчас принималась

петь любимую арию "Каста дива" из оперы "Норма" итальянского композитора Беллини. Это служило сигналом для Автандила. Он входил в комнату, зло кричал на домоправительницу Ольгу, которая при этом начинала заливаться слезами, и жестоко пинал Аркашу, сшибая его с ног. Но ни эти пинки, ни другие побои, ни слезы домоправительницы Ольги не могли заставить верного сен-бернара с рычанием броситься на хозяина, защищая честь любимого существа и собственное достоинство. Преданность побеждала в нем все другие инстинкты.

Так и прожил бы он до старости на подмосковной даче Автандила, наводя своей громадностью ужас на тех, кто не подозревал о его природной доброте, кабы не случилась выставка, на которой мы с ним и встретились впервые. Как сейчас помню этот день моего триумфа!

Владельцы со своими питомцами выстроились в колонну, держа нас на коротких поводках слева. Эксперт придирчиво рассматривал нас; сначала издали в движении, выдвигая вперед лучших по породности, правильности сложения, по характеру движения. Затем нас оценивали по отдельным статьям.

Среди зрителей я заметила огромного сен-бернара, глядевшего на меня с обожанием. Другие собаки, раздосадованные моей победой, злобно рычали на него, а он добродушно отбрехивался. От ирландского терьера, занявшего первое место среди своих, я узнала, что сен-бернар не получил никакой оценки. Я поинтересовалась не кастрат ли он или, ни про кого не будь сказано, не крипторх ли. "Нет! — ответил ирландец. — Он нечистопороден, этот самозванец, выдавший себя за сен-бернара". "А-а..." — сказала я. "Да, только и всего, — надменно сказал ирландец, — разве вам этого недостаточно?" Мне стало жаль добродушного великана, и я при первой же возможности цапнула за левую ляжку бородатого болвана-терьера, насладившись его капризным визгом.

Проходя мимо сен-бернара, я ласково потерлась об него. Мы познакомились, выразив друг другу надежду встретиться при удобном случае.

И вот представьте себе мою радость, дорогой друг, когда я увидела Аркашу здесь. Аркаша рассказал мне, что его продали. Узнав, что Аркаша нечистопородный, Автандил принял это близко к сердцу. Он продал Аркашу еврею-отъезжанту. Им оказался Залманович — наш сосед.

При расставании Автандил и Аркаша посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь. "Каков щенок! — сказал Залманович. — Ни слезинки!" "Ах вы, собаки, право собаки! Словно чужие!" — сказала домоправительница Ольга, беря под руку Залмановича и уходя с ним. "Лампада горит, — сказал ей вслед Автандил, — ее хватит еще лет на двадцать". Аркаша наскоро сглотнул тайные слезы и пошел за Залмановичем в машину. Вдогонку за ними с двух сторон отчаянно бросились три дворняжки и залились лаем.

Здесь Аркаша пытается пристроить мемуары своего бывшего хозяина. Хозяин говорил, что на родине нет возможности опубликовать правду, известную ему. "Так пусть же об этом узнает Запад! — объяснял он, искусно пряча микропленку в густой Аркашиной шерсти. — Мне от тебя ничего не надо. Если сумеешь продать, распорядись деньгами, как захочешь... Ну, а если меня вспомнишь, пришли мне штаны 'бермуды'".

Мемуары называются "Кремлевские блядки", и понимающие люди обещают Аркаше приличный гонорар за копирайт. Русский же вариант "Кремлевских блядок" выпускает Залманович, нынешний хозяин Аркаши.

К тому делу идет, дорогой мой друг, что Аркаша делает мне предложение. Что вы мне посоветуете? Пленяет разум сладкою неволей отрада кубков полных. Бьется сердце, шепчет мне: "Близка любовь..."

**Желтый Петух — Корделии:** Мои отношения с моим видом удивляют и огорчают меня. Стремясь и добираясь сюда, на Остров, чрез все препоны, я, мне кажется, искаженно представлял себе здешнюю реальность. Я полагал, что все существа моего вида, если не похожи на меня (я помнил, что внешне отличаюсь от них!), то (был уверен) похожи на моих давешних знакомых. Если не внешне, то уж внутренне в них много общего, а мне — близкого. Но я ошибся. Здешние, вольные канарейки совсем другие.

Мне казалось, что меня принимают, как своего. Но на самом деле отношение ко мне было — как к чужому, который тем-то и хорош, что чужой. Мои рассказы о неведомых странах и приключениях молодые слушали, широко открыв клювы. Почитая меня бывалым, старики приходили советоваться. А самки всех возрастов!.. Самки были от меня без ума! Любая готова была составить мое счастье на всю жизнь, либо, если мне заблагорассудится, то и на краткий срок.

Но потом ко мне привыкли. По-прежнему приходили меня слушать и советоваться со мной, но я не видел уж восторга в глазах моих слушателей, не ощущал почтительного уважения. Правда, благодаря моим природным способностям, слава моя среди самок не увяла, но и той, прежней готовности, преданности и безудержности я не обнаруживал. Ко мне привыкли.

“Он такой же, как мы, но — почему он такой крупный? — говорили они. — Почему он носит на груди бархатный нагрудник? Зачем? Он видел больше, чем мы, но нам и не нужно много видеть! Он знает больше, чем мы, но нам и не хочется знать больше того, что мы знаем!” Они пресытились.

Они стали смотреть на меня как на своего, но только отличного от них многими ненужными, излишними качествами, несовпадающими с их потребностями. Эти качества невыгодно выделяют меня из общей совокупности особей, которые быв расположены в непосредственной близости, составляют одно целое, как бы соединяясь. Я такой же, как они, но не хочу быть таким же, как они — вот, что они решили!

“Чем ты гордишься?” — спрашивают они меня. И когда я отвечаю им: “Ничем. И я ничем от вас не отличаюсь. Мне нечем гордиться перед вами”, — они принимают мои слова за насмешку. Они понимают, что я отличаюсь. А если отличаюсь, то, по их разумению, я должен гордиться. А коли говорю, что не горжусь, то они думают, что я над ними издеваюсь.

И что же? Позавчера во время вечерней прогулки на меня напали и изрядно поклевали. В темноте я не разобрал — кто, но почти уверен, что среди нападавших были мои недавние восторженные слушатели из молодых.

Огорченный, я рассказал старикам об этом случае, вызывающем чувство печали, соединенное с подавленностью и душевной горечью. Они внимательно меня выслушали и посоветовали не обращать внимания на мальчишеские шалости. “Может быть, это месть за какую-нибудь самочку? — предположил один из них. — Вы бы поостереглись. У нас, знаете, насчет самок законы строгие. Выберите себе одну и вейте с нею гнездо. Будьте, как все”, — добавил он, тяжело вздыхая.

Самки же стали стесняться беседовать со мной. Я уж не говорю про приглашающую позу! Ни одна в эту позу предо мной не становится. Я вижу, что они бы не прочь, но средства духовного воздействия коллектива на поведение отдельных лиц им не позволяют. Остается развести руками!

И все это после моих стараний приобщиться, стать причастным!

Я догадываюсь, что если вдруг чудом сделаюсь совсем неотличимым от них, то и тогда не заслужу ни практического признания достоинства личности, ни благожелательности, а одно лишь презрение. Они сочтут это моим падением! Мне грозит, я думаю, стать бесправным, отверженным и угнетенным парией среди своего вида.

Они не желают терпеть рядом с собою тех, кто полностью не подобен им по месту рождения, по образованию, взглядам и жизненному опыту. Они питают смертельную ненависть ко всему иному!

Итак, теперь я оказался вне общества. Я совсем один. Это позволяет мне видеть спокойным взором вокруг происходящее.

Я склоняюсь к уже однажды высказанной мысли, что каждое заурядное существо проникнуто ощущением своей силы и наглой самоуверенности. Именно это побуждает его к самоутверждению и самодовольству. Уважение ко мне было, на самом деле, любопытством к экзотическому явлению. Мои советы уязвляли стариков, потому что они не признают внешнего авторитета; они не допускали критики своего мнения и уж, конечно, не считались никак с моими советами. Возможно, и смеялись над ними! Потому-то они вмешиваются в мои дела, навязывают мне свое вульгарное мнение и заставляют меня силой подчиняться их законам, которые, как я понял, неприемлемы для меня, несмотря на все мои попытки приобщиться и причаститься.

Иногда подумываю, что ошибся в самоидентификации. Дорогая Корделия, как вы думаете — может быть, я не кенар? Может быть, я все-таки петух?

Ведь все ж таки я родился от курицы. То есть мать моя была курицей. Правда, птичий двор меня не признавал: было во мне что-то некуриное. Во многих своих проявлениях я был желтой канарейкой. Но ведь и канарейки не признают меня своим!

Кто же я? — этот вопрос снова встает передо мной во весь рост. Я думаю: кем же мне быть? Кем же мне назваться?

Меня зовет какой-то тайный голос — я не могу противиться ему!

#### **ГНЕЗДЯСЬ НА МОЛОДОМ ДЕРЕВЦЕ, ЖЕЛТЫЙ ПЕТУХ РАЗМЫШЛЯЕТ О КАНАРЕЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ**

Порой мне кажется, что Линней, Бриссон и другие, полагавшие, что дикие канарейки не более, чем помесь домашних канареек с различными зелеными вьюрками, были правы. Ведь домашняя

канарейка сильно отличается от своего (предполагаемого?) дикого родоначальника!

Наша распространенность по всему свету не есть ли свидетельство нашей полезности, нужности и высокой культуры? Только тот, кто сумел порвать с вольными (дикими!) канарейками, тот и сумел причаститься к мировой культуре и прославиться в ней!

Современные орнитологи, изучавшие жизнь вольных канареек, утверждают, что домашняя канарейка поет почти так же, как и вольная. А я вспоминаю своих знакомых домашних канареек: особенно, одну из них. И что же? Ее песня по звучности не уступала песне соловья или жаворонка. Но у нее была индивидуальная изменчивость песни и самого голоса, чего не скажешь о здешних, так называемых вольных канарейках.

Пение вольной канарейки звучит настолько громко, что утомляет слух. Ее пение слышится с раннего утра до позднего вечера. И они все поют одинаково! Самцы садятся куда-нибудь на уступ скалы, на торчащий камень, на ветку, опускают крылья и, надув горло, вертятся в разные стороны, поют с самозабвением. О себе скажу, что мне не так-то легко вертеться из стороны в сторону с моей-то комплекцией! Но это здесь никого не интересует. Индивидуальные качества полагается изжить! Пой, как все поют! И вертись, как все! Да-с!

Они не учатся. Их некому учить. А в прежние времена канароводы использовали для обучения канареек различные музыкальные инструменты и даже специальные птичьи органчики. Современная техника позволяет использовать для обучения магнитофонные записи пения самых лучших певцов-кенаров. Больших результатов добиваются, привлекая и живых птиц-учителей. А к выбору учителя подходят с большой осторожностью: для этого годятся только наилучшие певцы. Культура трудом дается!

Гарцкий роллер, бельгийская певчая, саксонская и испанская породы, русская овсяночного напева канарейка — казалось бы, не так уж их и много, но они-то и составляют славу всех канареек! Сколько труда вложено в них, и упорного труда! А саксонские, а недавно выведенные испанские! Я уж не говорю про русских канареек. В России разведение канареек началось в восемнадцатом веке, тотчас после того, как тирольские торговцы стали доставлять из Имста в Москву значительное число этих птиц. Эх, да что говорить! Шаляпин и Горький специально заходили в трактир близ Сытного рынка в Петербурге послушать тамошних кенаров. Горький при этом всегда рыдал!

Природные таланты природными талантами, но нужно вести систематический отбор наиболее мелодично поющих птиц и одновременно с этим применять различные способы их обучения. Ничего такого я не вижу у нас, на Острове. Каждый поет, как хочет, не задумываясь о том, например, как устранить из песни все слишком громкие и резкие звуки, как усовершенствовать самые нежные, высокие и мелодичные колена.

Совсем различные способы пения и поведения! Иные способы проявления себя! Просто — разные породы!

Неуклюже вертясь туда-сюда, Желтый Петух сказал:

— Я положительно считаю, что именно Европа была и есть подлинная родина культуры нашего вида!

### НЕОЖИДАННОЕ ВЕЗЕНИЕ ИЛИ ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ

В современных условиях нельзя держать собаку на свободе без привязи или вне огороженного участка. Собака, которая бродит без присмотра, как правило, пропадает: либо она находит смерть под колесами транспорта, либо погибает от отравления или других причин.

Поэтому Аркаша постоянно находился под присмотром хозяина Залмановича или домоправительницы Ольги, а в их отсутствие был в доме или в вольере, в середине которого была помещена будка. Залманович понимал, что обычный забор — ненадежная преграда для огромного Аркаши и, чтобы он не перепрыгнул ограждение, устроил козырек с внутренней стороны вольера. Подкопу же под забор мешала отмостка из белых известняковых плит по внутренней стороне забора. Стремясь видеть происходящее снаружи, Аркаша вставал на задние лапы, что портило его конечности и приводило к провислости спины!

“Ничто так не портит и не оглуляет собаку, как безысходное сидение в вольере, — думал Аркаша. — Я нуждаюсь в ежедневных прогулках по территории населенного пункта, в лесу, или в поле, или хотя бы на пустыре недалеко от дома”.

Будка, в которой он жил, была изготовлена из толстых строганых, хорошо просушенных досок. В ней не было щелей. Пол был двойной. Для полной водонепроницаемости крыша была обита рубероидом. Она была пологой, односкатной. Аркаша часами лежал на ней.

Встреча с Корделией не выходила из головы Аркаши. Напрасно

он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы — не спится, да и только. Вольер был ему мерзок, хозяин Залманович глуп и невыносим, ласки домоправительницы Ольги нестерпимы и надоедливы. “Она так пристально смотрела на меня! — думал Аркаша. — Если у нее есть сколько-нибудь сердца, оно должно было бы замереть, облиться кровью от жалости, а она... она прошла мимо... ну, Бог с ней! Перестану думать!”

И вдруг она явилась перед ним на балконе соседнего дома. Он подал голос. Она ответила. Аркаша вспыхнул изнемогая, с трудом сдерживая слезы, с трудом душа радостный, готовый вырваться из сердца крик. Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаким трепетом; в глазах стояли слезы, вызванные одинаким настроением.

— Корделия! — сказал он, трясаясь, как осиновый лист.

— Аркаша! — отвечала она робко, и оба замолчали. Так свершилось сердечное признание.

“Она любит меня! — думал Аркаша. — В ней играет чувство ко мне!” Гордость взыграла в нем, засияла жизнь, ее волшебная даль, все краски и лучи, которых еще недавно не было. Он боролся несколько времени с собой. Она мигом взвесила свою власть над ним, она разнообразно торжествовала свое первенство в этом поединке. Взгляд ее был говорящ и понятен.

— Жизнь, жизнь опять отворяется мне! — сказал Аркаша. — Вот она, в ваших глазах, в улыбке!.. Это все мое! Мое! — твердил он и не верил сам себе.

Она не вдавалась в мечтательность, не покорила внезапному трепету листьев, ночным видениям, таинственному шепоту.

— Нервы! — сказала она с улыбкой.

Он был нем и не мог даже пошевелиться, только влажные от умиления глаза неотразимо были устремлены на нее. Момент символических намеков и знаменательных улыбок прошел невозвратно.

— Что вы не скажете ничего? — спросила она. — Можно подумать, что вам скучно.

— Ах! — произнес он, как бы приходя в себя от обморока. — Как я люблю вас!

— В самом деле? — сказала она.

— Да неужели вы не чувствуете, что во мне происходит? — спросил он.

Она поглядела на него молча, как будто проверяла слова его,

сравнивала с тем, что у него написано на лице, и улыбнулась: проверка оказалась удовлетворительной.

— Я люблю иначе, — сказала она, опрокидываясь спиной и блуждая глазами в несущихся облаках. — Я однажды навсегда узнала, увидела и верю, что вы меня любите — и счастлива, хоть и не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею.

“Это слова... как будто Шекспира?” — подумал Аркаша, глядя на Корделию страстно.

Две бабочки, вертясь друг около друга в воздухе, опрометью, как в вальсе, мчались около древесных стволов. Трава сильно пахла; из нее раздавался неумолкаемый треск.

— Умрете вы, — продолжала она, — я буду носить траур по вас и никогда более не улыбнусь в жизни.

— Что ж жизнь, по-вашему? — спросил Аркаша.

— Жизнь, — долг, обязанность, следовательно, любовь — тоже долг.

— Корделия! — произнес Аркаша. — Так вот что любовь по-вашему! — прибавил он в раздумье. — А есть радости живые? Есть страсти?

— Не знаю, — сказала она.

— Знать вас, слушать, глядеть на вас подолгу... О, да тут с ума сойдешь! А вы так ровны, покойны... Но если пройдут сутки, двое, и я не услышу от вас “люблю”, то здесь — он указал на сердце, — начнется тревога.

— Люблю, люблю, люблю — вот вам на трое суток запаса! — сказала она, уходя с балкона на зов Шарафутдинова.

— Вы все шутите, а мне-то какво! — вздохнув заметил Аркаша, спускаясь с рубероидовой односкатной крыши. Было жарко. Лежа в будке, он наслаждался последними словами свидания и думал: “Наши сердца бьются в унисон!.. Корделия, милый друг мой! Если не эти минуты святые, то — какие?!”

## СУДЬБА МЕФОДИЯ

— Распространенное мнение о нас ложно, как и мнение, что знаменитую авантюристку екатерининских времен звали княжной Таракановой. У нее было много других имен, но она не смела само-назваться Таракановой: она знала, что это имя ей не принадлежит, — говорил Мефодий, воодушевленно повествуя Корделии о себе. —

Она была не из наших! — продолжал он. — Назвать ее Таракановой мог только тот, кто полагает, что снадобье, в состав которого входят сушеные и толченые тараканы, помогает от водянки!

Мефодий был хрущатым насекомым из отряда прямокрылых. Он был представителем маленького народа, составляющего челядь тмутараканского дома. Но однажды хозяин призвал тараканщика-изводчика тараканов, и отряд Мефодия покинул негостеприимный дом, отступив в полном порядке, с развернутыми знаменами, ибо таковы были условия капитуляции. Мефодий же бежал.

Он вошел в комнату Корделии, потупив глаза и дрожа всем телом. Увидев его, Корделия тоже задрожала. Вскоре Мефодий овладел собой и начал:

— Я бежал из Тмутаракани, спасаясь от преследований. Нас там морили! Нас там морозили! Нас там оскорбляли, говоря, что только ложь ходит на тараканьих ногах! Они объявили, что мы лентяи и бездельники, которые лезут от нечего делать на полати! — Он говорил с сокрушением и задушевностью, которые подействовали на простую и нежную душу Корделии.

С тех пор и начались их отношения, постепенно перешедшие в близкую дружбу. Они полюбили неспешные беседы вдвоем за чаем по вечерам, и вовсе без того, чтобы насчет этого кто-нибудь что-нибудь самонадеянное подумал. Живучи вдвоем, они не надоедали друг другу, понимая, что короткое, ежедневное сближение и совместное проживание не обходятся даром. Много надо и с той, и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтобы, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колотиться взаимными недостатками.

— Прямой, то есть настоящий взгляд на жизнь, — говаривал Мефодий, — вот что есть моя настоящая задача! Загадочному и таинственному нет места в моей душе! Я упрямо останавливаюсь у порога тайны, горячо благодаря судьбу, если удастся различить нарумяненную ложь от бледной истомы. Я сохранил силу души и крепость тела. Я вижу идеал бытия и стремлений в строгом понимании и отправлении жизни.

— Страсти, страсти все оправдывают, — отвечала ему Корделия, — а вы в своем эгоизме бережете только себя. Для кого же?

— Для борьбы! — отвечал Мефодий, задумчиво глядя вдаль. — Из тмутараканских тараканов здесь только я один! Они надеются на меня!

Корделия смущенно замолкала.

— Я готов погибнуть за наш род, — говорил Мефодий со сдержанным возбуждением, — я не ищу теплого обеспеченного места. Я хочу воспроизвести подлинную сущность своего непонятого народа. Если толковать о великотараканьей гордости, то не следует забывать часто высказываемую мысль, что большой таракан не мерину чета. Ее нужно понимать так, что мерин — не чета большому таракану! Но провозглашая наше право, мы помним и о мухах, которые не отказались бы, если б их отделили от тараканов и дали бы определиться самим, ибо таракан не муха — не взмутит брюха! Мы — тараканы — сами живем и не мешаем жить другим. Но нас оболгали! Нужно бороться за восстановление истины!.. Я привез некоторые записи... Предания предков, фольклорные свидетельства...

— Что я могу сказать! — отвечала Корделия, вспыхнув.

— Чтобы тараканы пропадали, нужно взять их столько, сколько жильцов в доме, и в лапте переволочь через порог и дорогу, — пояснил Мефодий. — Не делайте этого, Корделия, никогда!

— Никогда! — вторила она ему.

— Кажется, мне придется ехать в Британский музей, затем — в Париж, — говорил он. — Собрать недостающие материалы, поднять мировую общественность... Я хочу создать объединение эмигрантов из Тмутаракани и возглавить движение. В Париже?.. Или в Мюнхене?.. Или все-таки в Америке?.. Как вы думаете, Корделия, мировая общественность меня поддержит?

— Мировая общественность, если ее призвать, всегда готова подняться на борьбу за правое дело! — уверенно отвечала Корделия.

— Наш род вымирает! — с грустью говорил Мефодий. — И хотя я надеялся, что судьба не пошлет меня дальше, я обязан идти! Образ Кукарачи — Великого Таракана зовет меня!

Хлынул дождь. С шумом, весело, энергично! Дождь был теплый, щедрый, летний. Кругом на все голоса звенело, тарабанило, постукивало. Корделия сказала:

— Великодушен, друг мой, будь! Всегда люби свободу! Тебя зовет священный путь служения народу!

#### **РЕЧЬ ТАРАКАНА МЕФОДИЯ НА СОБРАНИИ БОРЦОВ ПРОТИВ ЗАЩИТЫ В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ**

Достопочтенные матки! Высокочитимые братья! Милые сестрицы! Я явился сюда неподготовленным встретить такую коллекцию разных представителей родов нашего вида, лучших образцов таракань-

его ума и образованности. Хотелось бы говорить и творить, но творить, находясь среди вас, трудно. Сказывается разница наших талантов, и я не смею творить, идя путями сумасбродов!

Я осторожен. Осторожности моей способствует привычка, приобретенная в нашей родной Тмутаракани. Я весь надломлен, не в порядке! (Г о л о с и з з а л а: Я против этого ничего не имею!) И совершенно напрасно! — отвечу я на эту дружественную реплику. Ибо в нашей родной Тмутаракани происходит невообразимое и непредставимое! Там я научился больше осматриваться, чем всматриваться. Больше думать, чем говорить! Но здесь я могу и поговорить наконец! (Г о л о с и з з а л а: Я против этого ничего не имею!) Благодарю вас, дорогой мой друг и одновидник!

В нашей маленькой стране столько подлинных героев, что порою мнилось мне, что живу я в древней Трое! А оттуда выходят, идут и доходят до нас тревожные вести! Там не только запрещается шевелить усами — нас там топчут в грязь рывками, со скрежетом неистовых горилл! Впрочем, как известно из истории, гориллы бывают и милосердными.

Нас не только загнали в подполье, но и подполье, где мы ютились, теперь тоже разгромлено. Нас выселяют из подполья, солят наши древние раны, то есть присыпают какой-то гадостью, к которой мы не успеваем примениться.

Но на почве, удобренной кровью нашей, усеянной нашими мыслителями, просветителями и борцами, показываются новые всходы. Ибо мы разослали, куда могли, наших посланцев — агитаторов, пропагандистов и мыслителей, знакомых с методами борьбы против нас. В отрицательном есть и положительное! Борясь с вопиющим произволом, наши братья просвещают тех, кто, все, как один, томятся непросвещенными. И хотя мутация местами торжествует, они голосят и громы мечут!

Всходы показались, как я уже говорил (Г о л о с и з з а л а: Я против этого ничего не имею!) ...показались всходы и заколосились. И первый тучный колос я получил вчера. Этот колос, сорванный со стебля, присланный мне нашими борющимися братьями! Этот колос есть сообщение, что почти все они научились бороться в защиту свободы против гнусных ядов, которые жадными проходами косили наши ряды. Более того, молодежь Тмутаракани тоже усвоили эти способы борьбы против и в защиту и, борясь и побеждая, поет гимн, сочиненный одним из наших юных талантов, имени которого я не знаю и не хочу назвать. Она поет, наша моло-

дежь: "Мы пойдем по пути наших предков! Мы пойдем! Мы пойдем!" (Г о л о с и з з а л а: Я против этого ничего не имею!) А вот наши преследователи имеют! Они имеют, дорогой брат и одновидник, яды, развращающие душу и убивающие тело! Они имеют возможность запретить нам шевелить усами, раздвигая их так широко, как нам этого хочется и как нам это нужно! Они все имеют! Сила на их стороне! Хотя правда — на нашей! И очень жаль, дорогой брат и одновидник, видеть ваше наплевательское равнодушие и злостное безразличие! Здесь сидя и уткнувшись в жирные и вкусно пахнущие крошки, вы забыли о страданиях наших тмутараканских братьев! Вам наплевать! Вы заелись! (Г о л о с а в з а л е: Он нас оскорбляет!.. Вывести его!) Мне закрывают рот! (Г о л о с и з з а л а: Я против этого ничего не имею!) Так поступают с нами в нашей многострадальной Тмутаракани! Произволу вы научились у наших врагов! Они таки сумели втравить в вас свои яды! И отравленные ими вы поступаете со мной произвольно! Но мы все равно победим! Нас — тьмы и тьмы! Мы вытравим из нашей среды провокаторов и циников! Мы заменим их нашими мыслителями и провидцами! И мы не пустим вас в нашу свободную и чистую от ядов Тмутаракань. Мы помним все! Мы любим плоть! Я кончил! (Г о л о с и з з а л а: Я против этого ничего не имею!)

Председатель собрания сказал Мефодию раздумчиво:

— Дай мне вздрогнуть в тяжких лапах! Ласку смерти приготовь! Дай услышать страшный запах — темный, пьяный, как любовь!

### УВЯЗАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ ПЕТУХ ИЩЕТ ВЫХОД И НАХОДИТ

Когда солнце село за горизонтом и посинели облака, когда, разгораясь, замигали звезды, Желтый Петух подумал: "Я жирею, я толстею, я грузну. Мне тошно, мне тяжело, мне вязко. Я обнаруживаю неустойку перед трудностями!.. У меня ни на что нет сил... Теперь или никогда!" Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума, он сознавал и взвешивал, что у него еще осталось в остатке. Он схватил перо, вытащил кипу бумаги и стал писать. В лице его появились краски, в глазах блеск и что-то вроде отваги.

Но длилось это состояние недолго. Он бросил перо и опять задумался. "Ах, долго символы передо мной парили прохладных дней предсонной эйфории, — думал он. — Здесь все не так! Здесь острова похожи на облака, а облака похожи на острова!" Так думал Желтый Петух, когда услышал призывное "тюрюлю" из бли-

жайшего лесочка. Это была она, Разлетаика, милое и радушное существо! Вопреки законам природы и островного общежития, в ней была естественная свобода взгляда, слова и поступка.

Пролетя в пыли по дорожке, Желтый Петух очутился возле нее. Муки самоанализа и перипетии внутренней эмиграции, видимо, не затронули совсем уж живых струн его души.

— Ты вновь пришла! Бледна ты и взволнована! — назидательно сказал он, разглядев свою знакомицу в тени жасминового куста. Но та состроила милую гримаску и протянула ему клювик со словами:

— Жарким пламенем раскаленная, как железо в пылу горна, и в тебя навсегда влюбленная, я пылаю ночами одна!

В основании натуры Желтого Петуха лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатии ко всему простому, нехитрому и доверчивому, что отверзалось и откликалось. Он сказал:

— В угаре жизни, год за годом, я брал, бросал и вновь искал! — и продолжал: — И, осушая грез бокал, пил горький опыт мимоходом...

У ней в горле стояли слезы. Она боялась заплакать. Но симпатия их росла, развивалась и проявлялась по своим непреложным законам. Между ними разыгрывался все тот же мотив в разнообразных вариациях.

— Я домой пойду! — вдруг сказала она и пошла.

Желтый Петух сказал:

— С тех пор, как ты ушла неожиданно, я жил, пути утратив цель!..

Она вернулась. Ее возвращение подействовало сильно и быстро: он пробежал мысленно всю свою жизнь — в сотый раз раскаяние и сожаление о минувшем подступило к сердцу. Он сказал:

— За мной и к дружбе, и к надежде закрылась дверь. И все, что было ярким прежде, темно теперь!

Она одела излияния сердца в те краски, какими горело ее воображение в настоящий момент, и уверовала, что они верны природе, и спешила в невинном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед глазами своего друга. Она сказала:

— Ты уходил от нас поспешно, бежал от наших тихих дум... — и воскликнула: — Ты, необузданный и грешный, всех осудивший наобум!

“Кто ж внушил ей это! — думал Желтый Петух. — Не путем же опыта, истязаний, огня и дыма она дошла до этого ясного и простого понимания жизни и любви”.

— Кто утолит твои печали, скиталец старый, всем чужой? — тихо спросила она.

Он ответил, ковыряя лапкой красноземье:

— Я мудр, но ноша тяжела. И никну я, как лишним медом отягощенная пчела!

И любовь появилась между ними в виде легкого, улыбающегося видения. Но он сказал:

— Тебя прогнать я должен поневоле, и полюбить тебя я не могу. Ты молода, траве подобна в поле. А я — как сено пряное в стогу!

Она сказала:

— Я жду... Предчувствий трепет юный влечет, как смелая игра! — и взглянула на него, как будто моля о пощаде.

— Заманчиво, но тяжело вас любить!.. — вздохнул Желтый Петух, и поспешил предстать пред нею во всеоружии страсти, желая показать ей весь блеск и всю силу огня, который пожирал его душу. Послышалось несколько вздохов и всхлипов, и наступила тишина.

Затем Желтый Петух прочитал ей стихи, последняя строфа которых звучала до невозможности бурно:

— Мне снилось: я держу тебя в объятьях. И ты дрожишь, трепещешь, уступаешь...

#### КОРДЕЛИЯ ПОБУЖДАЕТ АРКАШУ К ДЕЙСТВИЯМ И ПРЕУСПЕВАЕТ

Многие не знают, что делать в том или ином случае, но Корделия знала. У нее было какое-то упорство, которое пересиливало все грозы судьбы. "Однава дыхнуть!" — говорила она тогда и принималась действовать. Аркаша не мог понять, откуда у нее эта сила: если у нее явится какое-нибудь намерение, так дело и закипит. "Этот оттого, — думал он, — что борзые выведены еще в древности. Они — спринтеры, предназначенные для травли зверя на ограниченных напольных пространствах между лесами и перелесками. Эти изящные и стройные собаки мертвой хваткой берут за горло волка! От этой, столетиями выработанной хватки происходит ее упорство".

— В чем не согласишься, глядя на вас! — говорил он. Она улыбкой одобряла его слова.

— Правда ли, что вы очень скучаете? — спрашивала она его.

— Правда, — отвечал он, — но только не очень... У меня есть занятия. Пугаю прохожих своим видом и рыком, — начал было объяснять он, но у него не достало духа солгать. — Я немного ленив, — сознался он и зорко поглядел на нее.

— Отчего же? — лукаво спросила она.

— Я же не сторожевая собака, — пояснил он, — а потому уклоняюсь от роли любителя. Это сомнительная, да и трудная роль!

— Какие же занятия вам больше нравятся? — спросила Корделия.

Они стояли друг против друга: она на балконе; он, опершись передними лапами о забор. Ни от хлыста Автандила, ни от окрика Залмановича никогда в жизни не стучало так сердце Аркаши, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливая себя, но слова с языка не шли; только сердце билось неимоверно, как перед бедою. Стыдливость наконец пропала, беззаботность отлетела от него, и он заговорил с жаром, с лихорадочной поспешностью:

— Собаки породы сен-бернар были выведены в тринадцатом—четырнадцатом веках в горных районах Центральной Европы в результате скрещивания крупных азиатских овчарок с местными собаками, — сказал он. — Большая заслуга в создании этой породы принадлежит монахам монастыря святого Бернара, от которого мы и получили это название, — и вдруг он пожал плечами, покачал с сокрушением головой: — Я не знаю, кто был моим отцом, но мать... мать моя была чистопородная. У нее, как и у меня, была массивная голова, короткая морда, свисающие уши. Окрас у меня тоже от нее, как видите: белый, с рыжими пятнами. Я так же, как она, вешу около ста килограммов. Моя грудь, морда около носа, лапы, наконец! Они тоже белые! Вы же видите! Но вот конец хвоста у меня рыжий... Это, я полагаю, от отца... — он замолчал и припал мордой к забору, пряча глаза.

— Я угадала остальное, — сказала она, — не продолжайте.

Он глядел на нее пристально и мигал редко и широко. Она глядела на него сознательно, владея своей мыслью. "Ах, если б сквозь землю провалиться!" — думал он, внутренне мучаясь.

— Простите! — бормотал он, смущенный и уничтоженный.

— И что же дальше? — тихо поощрила она его.

— Сен-бернары столетиями использовались для розыска и спасения людей, затерявшихся в горах! — ободренный ею, снова заговорил он. — Обладая великолепным чутьем, мы, сильные и рослые, находим человека и откапываем его, даже если он засыпан толстым слоем снега. Снег мы разгребаем, работая передними и задними лапами. Добравшись до потерявшего сознание человека, мы ложимся на него, чтобы согреть теплом своего тела, лижем лицо и согреваем своим дыханием. Чтобы спасенный не погиб от голода и холода, мы предлагаем ему пакет с продовольствием и флягу с

вином, а также — теплое одеяло, которое у нас обычно привязывается к спине. В тех же случаях, когда мы не можем раскопать человека под слишком толстым слоем снега, мы сразу же возвращаемся в селение и лаем даем знать людям, что требуется их помощь...

— Так что же? — спросила Корделия, глядя на него таким иронически-глубоким, пронзительным взглядом, что он смутился.

— Как "что же"! — машинально повторил Аркаша, беспокойно глядя на нее и не догадываясь, какая мысль формируется у нее в голове.

— Онова дыхнуть! — сказала Корделия колко. — Вы боитесь порвать цепь, перепрыгнуть через забор, перемахнуть через козырек с внутренней стороны вольера, подкопать, наконец, отмостку из известняковых плит! Вас слушаешь и спрашиваешь себя: а были или не были Гомер, Сократ, Аристотель, Платон, Данте, Шекспир, Ньютон, Фрейд, Кант, Юнг, Леви-Брюль и Леви-Стросс, Дарвин и Эйнштейн? Какие именно перевороты произвели они в сознаниях? Изничтожить вас нужно в прах и навилет, милый вы мой!

— Вон какая вышла логика! — прошептал он. — Признаться, я не ожидал.

А она оглядывала его с ног до головы.

— Корделия, — сказал он, — вы умнее меня.

Она потрясла головою.

— Нет, проще и смелее. Чего вы боитесь?

— Теперь и я не боюсь! — бодро сказал он. — С вами не страшна судьба!

— Решайтесь же! — сказала она. — Один рывок! Один прыжок! И вы на свободе! И вы сможете применить свои силы и способности по разгребанию и спасанию! Круглая вы деревенщина!

Кровь бросилась ему в сердце и в голову; он начал дышать тяжело, с волнением. А она смотрела ему прямо в глаза, в грозной позе, с грозным взглядом. Он рванулся, прыгнул — и вот уже он по ту сторону забора. Боже! Как хорошо жить на свете! Одиичалый ветер закрутился, засвистал в ушах, застонал в проводах, сгинул бандитом в мокрых кустах и в желтых горах. Аркаша взлетел вверх по лестнице, пренебрегая лифтом. А она бежала ему навстречу, вздрагивала и озиралась вокруг.

— Видишь, видишь? — шептала она, хватая его за плечи. — Милый мой! Пойдем! — и, опершись на его плечо, вошла в квартиру. Он посадил ее на диван, стал подле нее на колени. Грудь ее тяжело дышала и облегчалась частыми вздохами. Он сказал:

— За часом час бежит и падает во тьму, но властно мой флюид прикован к твоему!

### ЖЕЛТЫЙ ПЕТУХ ПОГРУЖАЕТСЯ, ПРОСЫПАЕТСЯ И ОГОРАЖИВАЕТСЯ

Целый день он бродил неизвестно где и поздно ночью воротился. Все вокруг было погружено во мрак и сон. Шел дождь. Желтый Петух сел возле чемодана и сидел, не замечая мрака и дождя. Ум его утонул в хаосе неясных мыслей: они неслись без цели и без связи — он не ловил ни одной.

Машинально смотрел он, как забрезжилось утро. Тогда он встрепенулся и посмотрел на висящее неподалеку свое гнездо; там сидела Разлетайка. Все в гнезде дышало обилием и полнотой хозяйства. Сама Разлетайка была в зените своей жизни. Она наконец стала зрелой и независимой особью, период линьки давно закончился, и она сидела на яйцах. Разлетайка жила и чувствовала, что живет полно, как прежде никогда не жила. Но только высказать этого никогда не могла или, лучше сказать, ей и в голову это не приходило. Она олицетворяла счастье, полное и удовлетворенное, без желаний, а следовательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное.

Но пропало горячее дыхание, пропали светлые лучи во глубине ночи! Где поцелуи и смех? Не стало трепетно-задумчивых бесед в боскете, среди жасминовых кустов, на празднике природы и жизни... Все поблекло и отошло.

“Я с подружкой, — подумал Желтый Петух. — А дождь идет, идет. Голова от дум расколется вот-вот. Серый дождь размыл дороги и пути. Что мне делать? Как мне быть? Куда идти?”

Он не мог привыкнуть к грязному быту, удушливой атмосфере тупоумия и грубости. Его апатия и снисхождение к наглости и грубости заменились отвращением.

Но он подумал и о том, что вот мечта его жизни осуществилась, хотя и без поэзии. Что он сам стал полным и естественным отражением покоя, довольства и безмятежности. “Больше некуда идти? Нечего искать? Каких очарований ждать еще от жизни?” — спросил он себя.

— Мечта! Мечта! — сказал он вслух, отрезвляясь.

Дождь прекратился, с листов смоковницы капало. Потянуло сернистым дымом из ближайшей фумароллы. Весело затрещали канарейки.

Желтый Петух опрометью кинулся к чемодану и, хотя возвраще-

ние к жизни и к истечению скопившихся жизненных сил совершалось медленно, стал лихорадочно выбрасывать из чемодана его содержимое. Тюлевыми занавесками Анны Абрамовны он огородил пространство, внутри которого достаточно просторно было и чемодану, и настольной лампе в форме избушки в заснеженном лесу. Матрешек он расставил по углам своего помещения. Сняв с ручки чемодана лаосских слонов, он прикрепил их на западной занавеске.

Желтый Петух обошел по внешнему периметру свою тюлевую башню, возвышавшуюся на базальтовой глыбе. Отошел в сторону и полюбовался ею издали. Затем вздохнул и вошел внутрь со словами:

— Я уйду, убегу от тоски! Я назад ни за что не взгляну! И руками сжимая виски, я лицом упаду в тишину...

Разлетайка взглянула на тюлевую башню и пропела, различая сквозь занавески понурую фигуру Желтого Петуха:

— Постой, еще минуты вспомнишь эти! Оплачешь их, пожив на белом свете! Все, что цвело в твоём прекрасном сне, уйдет, подобно нынешней весне!

#### **Первая книга нового издательства**

**СЕМЕН РЕЗНИК. "ХАИМ-ДА-МАРЬЯ", ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН, ИЗД-ВО "ВЫЗОВ", ВАШИНГТОН, 1986, 320 СТР. ЦЕНА 15 ДОЛЛАРОВ (ПЛЮС 1 ДОЛЛАР ЗА ПЕРЕСЫЛКУ).**

Роман Семена Резника "Хаим-да-Марья" был написан еще в России как ответ писателя на разнузданный антисемитизм, ставший официальной политикой Кремля. Это перекликающееся с современностью повествование о преследованиях евреев в России времен Александра I и Николая I. В основу положены конкретные факты и документы забытого "Велижского дела", по которому более сорока евреев обвинялось в убийствах христианских детей. Это рассказ о любви, которой не было, о преступлениях, которые не совершались, об убиенных младенцах, которые не рождались на свет. Детективный сюжет и раскованная манера изложения сочетаются с исторической правдой и документальной достоверностью. В приложении к роману приводятся документальные материалы, отражающие борьбу автора за публикацию книги в СССР и раскрывающие закулисную сторону советской издательской политики.

Заказы и чеки присылать по адресу: С. Резник, п/я 381, Арлингтон, Вирджиния 22210, США.

## ПЕСНЬ О ДЕНЬГАХ

я все время думаю о деньгах  
о том что у меня нет денег  
о том что у меня мало денег  
о том что мне не хватит денег  
о том где мне взять денег  
у других есть деньги  
у некоторых даже много денег  
я знаю что они не дадут мне ни копейки  
они скажут это наши заработанные деньги  
сами заработали сами и потратим  
чего ты хочешь попрошайка лентяйка зазнайка  
с какой стати отдавать тебе наши кровные деньги  
поди да заработай сама

у нас сейчас экономический кризис  
и я не могу найти себе работу  
а о чем же ты думала раньше  
раньше деньги валялись на тротуаре  
почему не раздобыла себе денег  
почему не откладывала не копила  
почему на черный день не запасала  
а у меня и раньше не было денег  
мне и раньше никогда не хватало  
а это уж твоя проблема  
сейчас только дураки страдают  
умные люди играли на бирже  
умные люди покупали зеленые бумажки  
умные люди строили собственные дома на землях  
которые Имя обещало отдать евреям  
но то ли по забывчивости то ли за недосугом  
то ли в целях эксперимента  
отдало совсем другому народу  
и поэтому построить свой дом на этих землях  
стало у евреев богоугодным поступком  
добродетельной национальной заслугой  
которой власти всячески пособляли

из бездонного государственного кармана  
так что теперь когда настал экономический кризис  
у умных людей есть и деньги  
и собственные дома на обещанных землях  
и даже если обещание не осуществится  
умные люди ничего не потеряют  
а только получают еще больше денег  
в виде компенсации из того же кармана

у меня же и раньше не было денег  
а теперь совсем не стало  
между тем пришел счет за телефон  
за электричество за газ и за воду  
и ипотечный счет за квартиру  
в холодильнике совершенно пусто  
на носу зима надо покупать зимнюю одежду  
и керосин для керосиновой печки  
кроме того у меня испортились зубы  
и засорилась канализация в уборной  
неизвестно за что и хвататься раньше  
наша цивилизация не позволяет  
ходить с гнилыми зубами и обходиться без туалета  
а зубной врач и слесарь стоят очень много денег

голубушка вы же интеллигентная женщина  
неужели вы так прониклись западным духом  
разве можно столько думать о деньгах  
в конце концов живешь не ради денег  
деньги существуют для того чтобы их тратить  
а не для того чтобы о них думать  
(видимо другие знают какую-то тайну которой я не знаю)  
есть столько вещей более важных чем деньги  
(каких каких пусть мне откроют тайну)  
любимая страна любимая семья любимая работа  
(в лавочке не берут отсроченные чеки)  
бог любовь дружба будущее человечества  
(опять пришел счет за телефон за газ и электричество)  
люби ближнего как себя отдай ему последнюю рубаху  
(из сломанной уборной очень нехорошо пахнет)  
великий израиль от моря и до моря  
с ближнего востока свет наша сила в нашей торе  
голубушка не надо быть такой циничной  
право же это не пристойно  
еврейской женщине и русской интеллигентке

сегодня в старом городе на базаре  
старый араб нищий и мальчишки попрошайки

тянули ко мне руки и кричали money money  
я с искренним чувством откликнулась money money  
они посмотрели на меня с отвращением

по радио поют много прекрасных песен  
на волнующую меня тему  
например

нету денег нету  
папа говорит  
хорошо бы  
мне дали  
в кредит

или

обанкротилась биржа  
и люди кончают с собой  
мессия по слухам тоже погиб  
прыгнув с крыши вниз головой  
это видимо правда  
и потому  
не приходит мессия  
и не звонит никому

но всех правдивей и всех родней  
песенка проще которой нет  
песня которую знает весь мир  
банк леуми  
банк леуми  
человек человеку кассир

я провожу много времени в банке  
там где продаются и покупаются деньги  
продаются и покупаются разумеется за деньги  
банк берет себе некоторый процент за услугу  
на первый взгляд весьма даже высокий  
но если учесть какая это великая ценность деньги  
и как тяжело без них жить на свете  
то процент этот покажется не таким и страшным  
в конце концов что может быть дороже денег  
что еще так облегчает и украшает  
бедное людское существование  
бессмертия за деньги не купишь  
но без денег хоть ложись да помирай  
ей-богу стоит заплатить любые деньги  
чтобы заполучить такую драгоценность  
я бы например охотно заплатила  
беда только в том что у меня их нету  
у меня совершенно нету денег  
мне не хватает на счета на еду и на зубы

на починку туалета и на пополнение моего туалета  
на подарок ко дню рождения любимой подруги  
на покупку новых простынь  
взамен рассыпающихся московских  
на свежее мясо из некошерного магазина  
да и на мороженое кошерное тоже не хватает  
и даже куры любимая национальная пища  
становятся мне не по карману  
мне не хватает денег на отпуск  
чтобы уехать на целый длинный месяц  
и наслаждаться морем и солнцем  
(поневоле пожалеешь о порядках старой отчизны  
вот где умеют заботиться о людях  
там каждому дают по заслугам  
и даже отдыхать позволяют бесплатно)  
мне не хватает на разговор по телефону  
с теми кто остался далеко за морем  
и на посылку письма экспрессом  
чтобы скорее дошло до родных и любимых  
на старую книжку из магазина русской книги  
где хозяином однофамилец великого музыканта  
а уж на новую книжку мне и подавно не хватает  
короче денег у меня совершенно нету  
нету не было и никогда не будет

и все-таки

все-таки

все же

неким образом

как-то

где-то

в глубочайшей глуши моей души  
в тайных закромах моего существования  
под половицей моего подсознания  
под тощим матрасом моего бытия  
в зашечных мешках моего сугубого я  
иными словами в банке леуми ле-исраэль  
у меня все же есть немножко денег  
заработанных неизвестно как  
сэкономленных неизвестно на чем  
ах совсем совсем немножко почти ничего  
но кое-что все-таки есть  
и это позволяет мне смело смотреть людям в глаза  
и разделять со всеми судьбы моей страны

а еще у меня есть чековая книжка  
и магическая карточка открывающая дырку в стенке

из которой щедро сыплются деньги  
(если я их туда сначала положила)  
это банк для меня так чудесно устроил  
что ни положу почти все возвращается мне обратно  
и другая карточка с волшебными письменами  
с ней я хожу по городу как царица  
покупаю что хочу ни копейки не плачу  
и никто не скажет мне дурного слова  
а расчет наступит только через две недели  
через банк леуми ле-исраэль  
какие все же добрые эти банки  
не дадут пропасть бедному человеку  
а за две недели многое может случиться  
может счет потеряется по дороге  
может я выиграю на лотерее  
может скончается богатый дядя и оставит мне наследство  
может я сама помру  
может обанкротится все государство  
в лавочку придет новый хозяин  
и примет по десять старых шекелей за новый шекель

короче я провожу много времени в банке  
я стала совсем цивилизованным человеком  
большим специалистом по банковскому делу  
банк — неотъемлемая часть моей жизни  
трепетный пульс моего государства  
на котором я и с гордостью держу руку  
у меня может и нету денег  
но расчетов с банком у меня много

мой банк не работает после полудня  
то есть работает но двери его закрыты  
там за дверьми считают наши деньги  
там в полумраке в тишине и прохладе  
происходят таинственные процессы  
естественного отбора  
и искусственного выращивания денег  
там под давлением неведомой силы  
деньги перетекают с одних счетов на другие  
как правило с малых счетов на большие  
там укрытая в теплых недрах несчетных папок  
зреет и моя маленькая сумма  
зреет созревает разбухает  
округляется впитывая живительные проценты  
а параллельно с процессом роста  
происходит процесс обратный  
чем больше грузнеет сумма

тем больше тощат деньги  
и купить на них можно все меньше  
загадочные законы природы  
непостижимы уму человека

в банке есть замечательные машинки  
кладешь в нее растрепанную кучу бумажек  
золотистых десяти тысячных бумажек  
(речь идет о дореформенных галдах)  
а наружу выходит стройная толстая пачка  
подсчитанная в зеленых цифрах на экране  
ах мне бы такую машинку  
и растрепанные кучи бумажек  
или даже можно без машинки  
я сама бы их отлично подсчитала  
уложила бы в толстые пачки  
обвязала бы любовно бумажной лентой  
написала бы цифры вручную  
главное чтоб бумажек было побольше

голубушка вы же интеллигентная женщина  
а не какая-нибудь деревенщина  
у вас это просто наваждение  
все только деньги деньги деньги  
да на что ж бы вы потратили деньги  
если б у вас их было много  
ах я бы знала что с ними сделать  
ах я жила бы не зная заботы  
я бы купила я бы купила я бы купила  
машинкуквартирупоездкузаграницу  
видеостереоцветнойтелевизор  
вызвала бы слесаря — еще раз вызвала бы слесаря — и еще раз  
сделала бы коронку на зубы — три коронки — пять коронок —  
семь коронок — два моста справа и слева  
и еще два моста сверху и снизу  
двести долларов каждая коронка  
четыреста долларов каждый мост  
это уже три тысячи зеленых  
ну и бедное же у вас воображение  
разве это расходы для человека с деньгами  
нет нет дайте мне только подумать  
это свалилось на меня так внезапно  
будьте спокойны я уж знала бы как потратить деньги  
я не просто бы купила машину  
а самую большую и дорогую  
две машины три машины четыре машины  
по машине на каждого члена семейства

включая грудных младенцев  
я не просто купила бы квартиру  
а построила бы виллу на берегу средиземного моря  
с гаражом с бассейном и с теннисным кортом  
с финской баней и с гимнастическим залом  
и с большой американской кухней  
бог его знает что это такое  
но в лучших домах есть американские кухни  
обложенные белым мрамором с острова парос  
значит и в моем доме она тоже будет  
я взяла бы в дом прислугу  
или даже пару мужа и жену из тайланда  
пусть жена тайландка покупает убирает и готовит  
а муж тайланец ухаживает за садом и кортом  
на стенах у меня были бы картины  
много много картин как положено в культурном доме  
так много что даже соседям было бы завидно  
а соседи у меня были бы не просто  
а сливки общества то что называется элита  
даже в уборных которых у меня было бы три или четыре  
и которые никогда бы не засорялись  
а если бы даже и засорялись  
я могла бы себе позволить  
вызывать слесаря хоть каждую неделю  
и все-таки у меня еще остались бы деньги  
даже в уборных у меня висели бы картины  
из лучших галлерей тель-авива  
так живут приличные люди в америках и европах  
а мы извините ничем не хуже

если же у меня было бы не просто много денег  
а очень много денег  
тогда пришлось бы всерьез заняться помещением моих денег  
чтобы делать из них еще больше денег  
у меня разумеется было бы много  
ценных бумаг облигаций и акций  
всяческих банковских сбережений  
и выгодных капиталовложений  
я конечно играла бы на бирже  
но только тогда когда это безопасно  
как было например в тот блаженный семилетний период  
который закончился сравнительно недавно  
когда бедным и богатым без разбору  
стоило только высказать пожелание  
и власти немедленно его удовлетворяли  
без малейшего ущерба для государственного кармана  
напротив чем больше денег раздавалось благодарному народу

тем больше их становилось в кассе  
пока наконец не стало так много  
что и частные кошельки и казначейские сундуки  
стали лопаться по швам от изобилия  
непонятно почему нынешние власти  
позарились на народное благосостояние  
почему они хотят остановить печатные станки  
почему прилагают такие усилия  
чтобы уменьшить количество денег в обращении  
ведь больше денег всегда лучше чем меньше денег

тогда на бирже играть было приятно  
ибо проиграть было невозможно  
теперь же биржа банки и ценные бумаги  
и вложения в народное хозяйство  
все это стало у нас очень ненадежно  
а с деньгами нельзя обращаться небрежно  
не то как раз все и потеряешь  
как потеряли свои деньги те простофили  
что держали их в отечественных банках  
в волшебных беспроигрышных банковских бумагах  
так называемые маленькие люди  
у которых никогда и не было настоящих денег  
а теперь и вовсе не стало  
ну да это так им и надо  
что легко пришло легко и уходит  
чего мало было то и терять не страшно  
мы же люди у которых есть деньги  
настоящие люди с настоящими деньгами  
не можем себе позволить так бросаться деньгами  
мы должны заботиться об их сохранении и росте  
так что если бы у меня было действительно много денег  
я бы поместила их в надежное место  
да мне не пришлось бы и стараться  
мои деньги им лишь ведомыми путями  
сами перетекали бы в заморское государство  
здесь не место называть имя этого государства  
кому надо и так его знает  
в том государстве банки не прогорают  
ни инфляций ни девальваций там не бывает  
главное же там умеют хранить банковскую тайну  
гражданину этого государства  
строжайше запрещается законом  
говорить сколько у него денег в банке  
даже если спрашивает налоговый инспектор  
вот это я понимаю законы  
на такие законы можно положиться

к такому Государству стоит присоединиться  
с этим тоже не было бы затруднений  
если бы у меня было очень много денег  
я купила бы паспорт этого государства  
место гражданина там где его деньги

беда только в том что денег у меня нету  
нету не было и никогда не будет  
поэтому я живу надеждой на чудо  
недаром я живу в стране чудес и волшебных явлений  
которые должны распространяться и на деньги  
чудеса же у нас бывают двоякого рода  
первый род обычный привычный для нашего народа  
добрый бог посмотрит с высот как я страдаю без денег  
пожалует свое творение  
и по своим неисповедимым каналам  
пошлет мне денежное нежное знамение  
переведет на мой счет безвозмездную ссуду  
а еще чудеснее второе возможное чудо  
я перестану жаловаться и плакать  
перестану надеяться на бога и на биржу  
на правительство и на подачки союзного государства  
засучу рукава повыше  
и начну зарабатывать своими руками  
лично я ольше надеюсь на чудо первого рода  
оно гораздо вероятней

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ  
КНИГА

**ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ**

**« Г А Л И Н А »**

Автобиографическое повествование великой актрисы  
русского оперного театра.

«La Presse Libre» и «Континент»  
Париж 1985

Цена 200 F. Продается в русских книжных магазинах.  
Заказы направлять в ред «Р М»

## ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

*Рафаил Блехман*

МОСАД, АМАН И ВСЕ ТАКОЕ...  
(продолжение)

В какой-то момент становится необходимым вернуться к началу. Но когда же было это начало? Нет, не во времена Авигура. Подвиги Авигура и его людей из "Мосад ле алия бет" были всего лишь предысторией. Так сказать, героической, но до-исторической эпохой. Как и сам "Мосад" Авигура был лишь предшественником настоящего Мосада. А когда же началась собственно историческая эпоха? Об этом все еще продолжают спорить. Одни говорят, что это произошло в 1949 году, другие утверждают, что в 1951-м, а третьи относят этот момент даже к 1953 году. Истина однако состоит в том, что на самом деле израильская разведка родилась вместе с государством Израиль — разрыв составлял не более нескольких недель. А вот Мосад действительно возник лишь спустя несколько лет. Эти несколько лет понадобились израильской разведывательной службе, чтобы в мучительных поисках и неизбежных ошибках, межведомственных дразгах и структурных перестройках найти свое собственное — то есть неповторимое — лицо. Поэтому если мы хотим начать сначала, нам следует мысленно перелистать календарь и вернуться к самому первому израильскому лету. И, конечно, тут пристал этакий эпический зачин

Что-нибудь вроде "В те далекие времена окраины Тель-Авива еще напоминали глухую провинцию..." А если кто-нибудь поторопится выскочить с ехидным замечанием, что они и сейчас ее напоминают, придется ответить, как в притче: ты прав, сын мой, но в те времена это было иначе. В те времена улицы, отходившие от центра в чинном порядке многоэтажных зданий, уже через несколько кварталов, едва удрав из-под присмотра, тут же превращались в беспорядочную толпу одноэтажных домишек, словно им, как всякой настоящей еврейской компании, трудно было чересчур долго выдерживать единообразие и строй. Среди этого пестрого моря плоских крыш одинокие многоэтажки высились растерянно и отчужденно, как чопорные столичные гости, случайно забредшие на бесшабашное местечковое веселье. Четырехэтажный дом на улице Бен-Иегуда, 85, там, где она приближалась к старой гавани и даже начинала уже чуть-чуть пахнуть рыбой, тоже изо всех сил пытался сохранить чинные городские манеры. Слева от подъезда по его фасаду тянулась огромная вывеска "Кафе", которая своими размерами далеко превышала приютившееся под ней небольшое помещение с несколькими хлипкими столиками и некрашеными табуретками; по другую сторону подъезда, под такой же впечатляющей размерами вывеской, бойко торговал крохотный цветочный магазин; а сам подъезд напоминал областных размеров картинную галерею, только вместо картин тут красовались — в рамках и без оных — громадные латунные таблички с именами дантистов, адвокатов, водопроводчиков и даже — совсем по-городскому! — какой-то организации со скучным названием "Консультативная служба ветеранов", которую занесло сюда неведомо откуда и Бог весть когда. Что это были за ветераны, тоже никто не знал, да, по совести, и не интересовался. Приходили и уходили какие-то люди, лениво трещала за зашторенными окнами, под самой крышей, пишущая машинка, сладкий окрестный покой изредка нарушало унылое дребезжание телефона, — и даже дотошная британская полиция не заподозрила бы, что здесь, в доме 85 по улице Бен-Иегуда, долгие годы располагалась штаб-квартира самой секретной из организаций еврейского ишува — знаменитой "Шай", которая и была зародышем будущей израильской разведки.

30 июня 1948 года — как мы и сказали, через считанные недели после того, как Бен-Гурион торжественно провозгласил образование государства Израиль, — в помещении "Консультатив-

ной службы ветеранов" собралась небольшая группа давно и тесно знавших друг друга людей. Им уже не нужно было скрываться от британской полиции, а от израильской им и вообще не нужно было скрываться, но по привычке, а еще более — по роду занятий, в которых береженого Бог бережет, они собрались, как и раньше, — тайно, с соблюдением всех мер предосторожности, точно так, как это описывают в добротных шпионских романах. Тут была представлена вся верхушка организации "Шай": коренастый, полный Авраам Кидрон из Галилеи; задумчивый, молчаливый Давид Карон из Негева; смуглый красавец Биньямин Джибли из Иерусалима; "очкарик" Борис Гуриэль, возглавлявший политический отдел только что созданного министерства иностранных дел; и круглолицый, с торчащими ушами, Исер Харэль из Тель-Авива. Руководил совещанием Исер Бери, долговязый, аскетичного вида полковник, прозванный в "Шай" Исером Большим в отличие от низенького Харэля — Исера Маленького. Бери только что прибыл из канцелярии Бен-Гуриона и привез важное сообщение от премьера.

"Старик решил, что нам пора реорганизовать Шай, — медленно сказал Бери, оглядывая всех присутствующих, словно выискивая несогласных. — Отныне наша работа будет разделена между тремя отдельными ведомствами. Старик считает, что такая структура позволит нам меньше наступать друг другу на мозоли. Военной разведкой будет заниматься Отдел информации, Агаф Модин, или сокращенно Аман, и возглавлять его буду я. По идее Старика, Аман должен стоять во главе пирамиды, и ему, с одной стороны, будет подчиняться отдел Гуриэля, который займется политической разведкой, а с другой — служба безопасности, Шин-Бет, под началом Исера Харэля. Исер сохраняет за собой также контрразведку, Шабак. А Мосад Авигура и служба закупки оружия, Рекеш, временно войдут в пирамиду как независимые вспомогательные единицы..."

Гуриэль и Харэль уже знали о предстоящей реорганизации. После совещания они остались обсудить детали будущего разделения труда. Бери и остальные офицеры задерживаться не стали — им в тот день предстояло еще два совещания, заседание военного трибунала и масса других дел. Никого это не удивило: шла война, военный трибунал был делом обычным, и обилие дел было обычным, и вообще весь этот день был обычным, — лихорадочно-напряженным, как все остальные первые дни молодого

государства. И даже реорганизация “Шай” была чем-то рутинным — в те дни непрерывно что-то организовывали и реорганизовывали. Так что никому не дано было знать, что это был все-таки не совсем обычный день: в то утро, 30 июня 1948 года, родилась израильская разведка — и покатила вниз звезда ее первого руководителя, полковника Исера Бери...

Всякое новорожденное государство, особенно после революции — а государство Израиль было, не следует все же забывать, результатом сионистской революции, — напоминает развороченный человеческий муравейник. Еще нет никакой четкой организации, никаких государственных институтов, даже никакой — страшно вымолвить — бюрократии. Всему этому еще предстоит возникнуть. Старому вину предстоит влиться в новые мехи. И будущее зависит от того, что это за вино и каковы мехи. В случае Израиля рождающимся государственным формам предстояло вобрать в себя подвижные традиции ишува. И какие традиции! Вчерашние кибуцники и пионеры, ставшие в одну ночь руководителями государства, принесли с собой в государственные дела яростную идеологическую страстность и высокую веру в безграничные возможности самоуправления. В своей крайней форме это оборачивалось партизанщиной. Дух вольницы и самоуправления бродил по пустынным пока коридорам власти. Инициатива зачастую заменяла приказ, а приказ выполнялся в меру собственного разума, согласия и инициативы. Важнейшие дела решались в беглом разговоре или с помощью торопливо нацарапанных записок, потому что все знали всех и дружеские связи были важнее формальных отношений. И только естественно, что первым внутренним конфликтом еврейского государства был конфликт между наследием героической пионерской эпохи и подминавшей ее под себя государственной рутинной. Это была борьба между силами плюрализма, которые грозили разорвать страну, и тенденцией к монолитности, которая могла превратить ее в тоталитарную. Эта борьба началась уже в тот момент, когда Бен-Гурион отдал приказ разгромить независимые вооруженные отряды Эцеля и Леги, а затем — распустить ударные отряды Пальмаха. История Исера Бери была одним из эпизодов этого конфликта, затянувшегося на многие годы.

Исер Бери был воплощенным отрицанием всего, что связано со словом “государство” — упорядоченности, легальности, иерар-

хии. Он был из тех, если угодно, еврейских Робин Гудов, что во времена ишува возглавляли лихие отряды самообороны, совершавшие дерзкие атаки на арабских налетчиков, творившие суд и расправу и уходившие под прикрытием ночи. И если для Бен-Гуриона реорганизация "Шай" была первым шагом на пути превращения ее в одно из звеньев государственного механизма, то для Бери "Шай" все еще оставался прежним отрядом храбрых "лесных братьев", которым ему поручено было командовать и которым он командовал в меру своего разума, согласия и инициативы. В результате шесть месяцев спустя, в декабре того же 1948 года, он предстал перед государственным судом по обвинению в умышленном убийстве.

Убитым был богатый и влиятельный хайфский араб по имени аль-Касем. Полиция давно знала его как "рэкетира", который навязывал свое "покровительство" мелким арабским торговцам — разумеется, за изрядное вознаграждение. Известно было также, что он оказывал небольшие, но регулярные услуги Хагане, а кроме того, по всей видимости, и британской разведке. Поэтому когда его изрешеченное пулями тело было обнаружено у подножия горы Кармель, большого удивления это не вызвало: желающих свести с ним счеты было предостаточно. Но убийство есть убийство, закон государства требовал расследования, а расследование неожиданно привело к Исеру Бери. Нет, Бери не отдавал приказа об убийстве аль-Касема, это была инициатива кого-то из его подчиненных, но Бери был с ней полностью согласен — по причинам, которые он лаконично изложил полицейским: "аль-Касем был двойной агент, и мы его ликвидировали".

Бен-Гурион думал иначе. Бен-Гурион считал, что Израиль — уже не партизанская вольница, а государство, закон которого един для всех. Поэтому полковник Бери был привлечен к суду. Суд признал его виновным и рекомендовал снять с поста руководителя разведки. Но это было лишь начало. Несколько недель спустя Бери снова предстал перед судом. На этот раз — по делу Аба-Хуши.

Нити этого дела тоже уходили в недавнее прошлое. Весной 1946 года Хагана планировала операцию против британских сторожевых катеров в Хайфе, мешавших нелегальной еврейской репатриации. Буквально накануне операции кто-то донес о ней британским властям и тем самым сорвал все планы Хаганы. Бери был уверен, что знает доносчика. По его глубочайшему убежде-

нию, им был Аба-Хуши — могущественный лидер хайфских еврейских профсоюзов, правая рука Бен-Гуриона, давний приятель "Старика". Аба-Хуши был изворотливым, хитрым и порой беспринципным политиком — из того сорта людей, которые были особенно неприятны Исеру Бери, человеку прямолинейному, мрачно неподкупному, не понимавшему и не принимавшему никаких политических интриг. У Аба-Хуши были давние тесные связи с англичанами, и он не раз высказывался против некоторых действий Хаганы. Для Бери этого было достаточно, чтобы начать за Аба-Хуши многомесячную слежку. В мае 1948 года, почти два года спустя, Бери наконец показалось, что он нашел "слабое звено" в политической броне Аба-Хуши. Люди Бери арестовали некоего Амстера, приятеля Аба-Хуши, и после многодневных допросов "с пристрастием" Амстер действительно дал нужные показания. С этими показаниями Бери отправился к Бен-Гуриону. Бен-Гурион отказался ему поверить. Тогда Бери предъявил свой главный козырь — два документа, которые, как он объяснил, были найдены в захваченном секретном британском архиве. Они неопровержимо доказывали, что Аба-Хуши сотрудничал с англичанами.

Бен-Гурион согласился начать следствие против Аба-Хуши. Но сомневаться не перестал. И оказался прав. В конце августа, когда следствие уже было в разгаре, главный израильский специалист по подделке документов, вызванный для экспертизы, неожиданно признался, что это он сфабриковал "британские документы" — по прямому приказу Исера Бери. Бери, надо думать, был абсолютно уверен, что Аба-Хуши представляет собой серьезную угрозу; в то же время он знал, что показания Амстера вряд ли убедят Бен-Гуриона; поэтому он "дополнил" эти показания фальшивкой, изготовленной, с его точки зрения, с самыми честными намерениями. Представ перед вторым судом, Бери так и заявил: "Как глава разведки, я имел право действовать вне рамок закона, если это диктуется интересами государства". Но суд не согласился с такой трактовкой интересов государства. В январе 1949 года Бери был разжалован и уволен из армии. Однако и на этом его трагедия все еще не окончилась. В июле он был привлечен к суду в третий раз! Теперь его обвиняли в самочинной казни майора израильской армии Меира Тобянского.

Как мы уже говорили, день 30 июня 1948 года был не вполне

обычным. Если вы помните, в тот день, прямо из "Консультативной службы ветеранов", Бери и сопровождавшие его Кидрон, Карон и Джибли направились на заседание военного трибунала. Это и был трибунал по делу Тобянского. Заседание было коротким и стремительным, вполне в духе военного времени. Судьи не вдавались в подробности. Детального следствия не было. И хотя подсудимый отрицал свою вину, он был осужден и приговорен к расстрелу. На следующий день, в окрестностях арабского села Бейт-Джеез, что на дороге Тель-Авив—Иерусалим, взвод израильских солдат привел приговор в исполнение.

История Меира Тобянского началась в первых числах июня, когда иорданский Арабский легион осаждал Иерусалим. Орудия легиона непрерывно и точно накрывали огнем секретные израильские оружейные мастерские, от которых зависело снабжение Хаганы боеприпасами. Стоило мастерским сменить место, как через несколько часов они опять оказывались под прицельным обстрелом. Биньямин Джибли, начальник разведки иерусалимского округа, начал срочное расследование. Следы привели его к Меиру Тобянскому, бывшему майору Королевского инженерного корпуса и страстному англофилу. Выяснилось, что Тобянский ежедневно встречается с английскими инженерами из Иерусалимской электрической компании. 30 июня рапорт Джибли поступил к Бери. Методы Бери нам уже знакомы. В тот же день, 30 июня, Тобянский был арестован, допрошен, доставлен в трибунал и осужден. И через 24 часа его тело уже было брошено в наспех вырытую яму.

Когда три недели спустя сообщение о казни Тобянского появилось в израильских газетах, его вдова обратилась с письмом к Бен-Гуриону. "Как могло случиться, — писала она, — что моему мужу было отказано в его законных правах на защиту? Где и когда происходил его суд? По какому параграфу закона его осудили? Почему осужденный не получил возможности попросить с женой и сыном?"

Получив это письмо, Бен-Гурион распорядился немедленно провести повторное расследование. 26 декабря он ответил Лене Тобянской: "Я не имею права выносить приговор по делу вашего мужа, но я проверил все обстоятельства этого дела и пришел к выводу, что оно было проведено в нарушение закона. Я приказал начальнику генерального штаба назначить новый трибунал. Независимо от решения этого трибунала правительство Израиля

продолжит оплату образования вашего сына. Ни вы, ни он не должны испытывать никакого чувства вины”.

Второе письмо от Бен-Гуриона вдова Тобянского получила почти полгода спустя. В нем говорилось: “Расследованием установлено, что ваш муж был невиновен. Его смерть была трагической ошибкой. Подобное не должно было случиться никогда. Виновные будут наказаны...”

7 июня 1949 года останки Меира Тобянского были перезахоронены с воинскими почестями. А 19 июля начался третий суд над Исером Бери, бывшим руководителем израильской разведки, ныне — частным лицом без определенных занятий. 23 ноября он был признан виновным. Суд учел напряженную обстановку, в которой происходило расследование дела Тобянского. Суд учел также тот факт, что действиями Бери руководила исключительно преданность своему долгу и честное (хотя и специфическое) понимание своих обязанностей. Бери был приговорен к условному наказанию: “Тюремное заключение сроком на один день, от восхода до заката солнца”.

Утверждают, что в разгар суда над Бери на стол к Борису Гуриэлю легла перехваченная израильскими радистами телеграмма — донесение английского агента в Тель-Авиве Джона Бальфура, из которой неопровержимо следовало, что — сознательно или нет — Тобянский действительно помог британской разведке в Иерусалиме. И что будто бы Гуриэль предложил Бери воспользоваться этим неожиданным документом, но тот, ничего не объясняя, отказался. А на следующий день Гуриэля вызвал к себе Бен-Гурион и спросил: “Как ты думаешь, что станет с нашей разведкой, если ее руководители будут использовать поступающие к ним секретные документы для защиты своих друзей, а то еще, не дай Бог, для сведения личных счетов?” Говорят, что Гуриэль, пытаясь оправдаться, напомнил Бен-Гуриону о деле Дрейфуса, в котором немецкий офицер скрыл доказательства невинности обвиняемого. И что будто бы Бен-Гурион на это ответил: “Я тоже знаю дело Дрейфуса. И дело Тобянского я знаю. Но я знаю также Исера Бери. Я думаю, что суд учтет в с е обстоятельства...”

Как бы то ни было, на следующий день после вынесения приговора президент страны помиловал Бери и уберег от однодневного позорного заключения.

Исер Бери умер в 1958 году сломленным и разочарованным человеком. Его друзья продолжали считать его героем. Он дей-

ствительно был, если угодно, героем — только тип его героизма принадлежал прошлому. История безжалостно убирает со сцены прежних героев и вызывает новых, когда ей это требуется. Она не обходится без них — она их просто меняет. Попытка оставаться верным только прошлому чаще всего оканчивается трагически.

Первые годы существования Израиля тоже были героической эпохой — достаточно вспомнить Войну за Независимость, прием репатриантов из арабских стран и все последующее, вплоть до победоносной Синайской кампании 1956 года. Но это уже был другой героизм и другая эпоха. Главным ее содержанием было постепенное отступление взбаламученной “революционной стихии” в государственные берега. В считанные годы ушли со сцены лихие “партизаны”; недавние подпольные группы превратились в респектабельные политические партии; киббуцники сменили подпоясанные косоворотки на дипломатические фраки; на смену героям-одиночкам шли политики, администраторы, профессионалы — и чиновники. На первый взгляд казалось, что Израиль быстро превращается в “обычное” государство. В действительности он, конечно, все еще оставался — и частично остался до сих пор — революционным обществом, хранившим традиции поселенческого эгалитаризма, сионистского политического плюрализма и пионерского демократизма. И, как мы уже говорили, эти традиции непрерывно вступали в острейший конфликт с той, весьма пахнувшей тоталитаризмом, государственностью, которую Бен-Гурион и его партия навязывали стране — в интересах ее же выживания. В сущности, это была борьба за то, каким будет государство Израиль. И в конечном итоге в этой борьбе не оказалось победителей. Она кончилась временным и неустойчивым компромиссом, который предвещал новую фазу конфликта. Но то была титаническая борьба, и она породила титанов. Первым из них был, конечно, Давид Бен-Гурион, который наложил сильнейший отпечаток своей сложной, тоталитарной и демократической одновременно, личности на всю эпоху. Но Бен-Гурион не был единственным. В политике рядом с ним — или против него — поднялись Голда Меир, Моше Даян, Менахем Бегин, Моше Снэ и многие другие. В истории израильской разведки новая эпоха тоже заявила о себе восхождением авторитарного руководителя нового типа. Им был Исер Харэль.

После падения Бери руководство Аманом перешло к его заместителю Хаиму Герцогу, а от него, в апреле 1950 года — к Биньямину Джибли. Вскоре между Джибли и Гуриэлем начался тяжелый затяжной конфликт. Гуриэль утверждал, что Израиль остро нуждается в расширении прежде всего политической разведки, которая анализировала бы ситуацию в арабских странах и на этом основании оценивала данные разведки военной. “Если даже Аман обнаружит, что египтяне закупили новое оружие, — говорил Гуриэль, — это еще ничего не означает. Главное — узнать, что они с ним собираются сделать”. В отделе Джибли эти рассуждения называли “интеллектуальным теоретизированием”. Межведомственная борьба еще более осложнилась, когда Харэль стал на сторону Джибли, чтобы этим усилить свои собственные позиции. Кончилось тем, что в дело опять вмешался Бен-Гурион. 1 сентября 1951 года он провел новую реорганизацию разведки. Политический отдел Гуриэля был расформирован, его заменил обычный “исследовательский отдел”. Функции Амана и Шин-Бета были четко разграничены. И наконец в добавление ко всему (именно тогда!) был создан новый руководящий орган — Центральный институт разведки и “особых поручений”, а попросту — Мосад. Вся эта структура была объединена в рамках координационного комитета, во главе которого должен был стоять руководитель Мосада. На этот пост был сначала назначен славившийся своими оригинальными идеями Реувен Шилоах, разведчик с многолетним опытом, несколько лет находившийся в “служебной командировке” в Соединенных Штатах.

Теперь, однако, борьба разгорелась между Шилоахом и Харэлем. Маленький Исер не устал твердить, что Шилоах — никуда негодный администратор. Верно, он фонтанирует идеями, но это его и губит. Он способен целыми днями обсуждать с сотрудниками новую идею, а завтра отбросить ее ради следующей, не менее фантастической. В конце концов, разъяренный Шилоах доложил Бен-Гуриону, что не может больше сотрудничать с Харэлем — кто-то из них должен уйти.

Ушел Шилоах. В сентябре 1952 года Харэль добился своего — он был назначен руководителем Мосада, а в начале 1953 года ему было возвращено и руководство Шин-Бетом. Фактически, он единолично подчинил себе всю израильскую разведку, потому что, будучи главой координационного комитета, или “Мемуне”, он контролировал также деятельность Амана. Исер Харэль

долго и терпеливо шел к этой вершине, и теперь он наконец ее достиг.

Исер Гальперин родился в Витебске, в 1912 году. В шестнадцать лет он стал сионистом, в восемнадцать приехал в Палестину. Единственным имуществом, которое он привез с собой в Обетованную Землю, был револьвер и пачка патронов, умело спрятанные от таможенного досмотра. В Палестине Исер сменил фамилию на ивритское "Харэль", поселился в кибуце Шфаим и вскоре женился на очаровательной веселой девушке по имени Ривка. Он был ее полной противоположностью — молчаливый, сосредоточенный, лишенный чувства юмора низенький человек со стальной волей и бешеным упрямством. В 1935 году Исер и Ривка ушли из кибуца и переехали в Тель-Авив. Здесь Харэль вступил в Хагану. Вскоре его пригласили возглавить Еврейский отдел "Шай". Отдел занимался слежкой за группами, которые соперничали с Хаганой на политической и военной арене — Эцелем и Лехи. Соперничество между различными течениями сионизма в ишуве не прекращалось даже в самые тяжелые времена борьбы с мандатными властями за создание еврейского государства, более того — тогда оно лишь еще более обострялось. Эцель, отколовшийся от Хаганы с самого начала, выступал против всякой сдержанности в отношении арабского терроризма, а затем — мандатных властей. Лехи, или группа Штерна, заявившая о себе в сороковые годы, отличалась еще большим экстремизмом. За этими тактическими разногласиями скрывались, понятно, более глубокие — политические; и после образования государства эти разногласия стали угрожать единству страны, которое железной рукой навязывал ей Бен-Гурион. 11 июня 1948 года руководитель Эцеля Менахем Бегин привел в тель-авивскую гавань корабль "Альталена" с грузом оружия. И хотя он объявил, что это оружие предназначено для всей израильской армии, а не только для Эцеля, Бен-Гурион воспринял инцидент как угрозу гражданской войны. Он приказал атаковать "Альталену". Вслед затем, в течение нескольких дней, были ликвидированы склады оружия и тайные явки Эцеля по всей стране. Данные об этих складах и явках добыл глава Еврейского отдела "Шай" Исер Харэль.

Все это происходило в дни первого перемирия между евреями и арабами. Вскоре перемирие рухнуло, и Война за Независимость возобновилась. Посредник ООН граф Бернадотт, пытавшийся наладить новое перемирие, действовал не особенно активно —

все его симпатии явно были на арабской стороне. Неудивительно, что когда 17 сентября машина Бернадотта попала в засаду на узких иерусалимских улицах и посредник ООН был в упор расстрелян неизвестными людьми, подозрение прежде всего пало на евреев. Ответственность за убийство взяла на себя доселе неизвестная организация "Национальный фронт". Но уже на следующее утро Исер Харэль явился к Бен-Гуриону, утверждая, что за вывеской "Национального фронта" скрываются люди Лехи.

В те времена, как и много позже, существовала своеобразная "биржа" мирового шпионажа, располагавшаяся в североафриканском городе Танжер. Разведчики всех стран и их платные агенты обменивались там взаимно полезной информацией. На танжерской бирже ходили слухи, что убийство Бернадотта — дело рук двух болгарских агентов, действовавших по поручению советской разведки, которая — по своим причинам — хотела сорвать ближневосточное перемирие. Так или не так, но в эти первые месяцы существования Израиля Бен-Гурион не мог пойти на конфликт с таким могущественным союзником, как СССР. К тому же версия Харэля давала ему возможность окончательно решить проблему сепаратистов из Эцеля и Лехи, обеспечить целостность государства и одновременно ослабить своих давних идеологических и политических конкурентов. Конечно, он сознавал, что на стороне Эцеля и Лехи были решительность, военная подготовка, а главное — популярность, завоеванная героической борьбой против арабов и англичан. Но государственные и политические соображения перевесили. К тому же Харэль заверил, что операция будет молниеносной и безболезненной: в его распоряжении были все адреса и явки Эцеля и Лехи. Бен-Гурион отдал приказ.

Той же ночью армейское подразделение Моше Даяна провело сотни арестов. На следующий день, 20 сентября, начальник генерального штаба Игаэль Ядин предъявил ультиматум отрядам Эцеля в Иерусалиме — основной военной силе организации. Бегин принял ультиматум. 30 сентября Харэль собственноручно арестовал в Хайфе последнего руководителя Лехи Фридмана-Елина. Эцель и Лехи как независимые боевые организации перестали существовать. Их члены частично влились в единую израильскую армию, Цахал, частично ушли в политику, создав собственные политические партии. Но отголоски посеянной этими событиями политической и личной ненависти сотрясали Израиль еще многие десятилетия спустя.

Затем настала очередь Пальмаха. То были ударные отряды, созданные в Хагане еще в мандатный период, но в отличие от нее находившиеся в состоянии постоянной мобилизации — своего рода зародыш еврейской регулярной армии. Пальмах стал легендарной боевой единицей. Из его рядов вышли почти все будущие командиры Цахала; в израильской истории и литературе есть даже выражение — “поколение Пальмаха”. И благодаря всем своим особенностям, Пальмах постепенно — и неизбежно — превратился в самостоятельную, политически независимую силу, которую скрепляли общая история и общее происхождение его членов, как правило — выходцев из пионерских киббуцов. Но если Эцель и Лехи были военной опорой правого крыла сионизма, то Пальмах был военной опорой его крайне левого крыла, партии Мапам — тех радикалов, которые вышли из бен-гурионовской партии Мапай в знак протеста против ее “консерватизма” и объединились под знаменами левого, просоветского социализма.

7 ноября 1948 года Бен-Гурион отдал приказ о расформировании Пальмаха как отдельной военной организации. Могущественная Федерация израильских профсоюзов, Гистадрут, находившаяся под контролем партии Мапай, одобрила это решение. Но на первых же израильских выборах, весной 1949 года, Мапам получила почти 15 процентов голосов, став второй по величине партией в израильском парламенте, и 90 процентов бывших членов Пальмаха голосовали за нее. В борьбе с Бен-Гурионом Мапам все более левела. В ее руководстве все громче звучали голоса сторонников объединения с коммунистами, Бермана и Снэ. И перед Бен-Гурионом, уже имевшим в стране шумную оппозицию справа, теперь вырисовывалась угроза мощной оппозиции слева. В борьбе с ней Бен-Гурион снова обратился к службе безопасности Исера Харэля.

Когда 14 сентября 1952 года Харэль принял руководство Мосадам, вся израильская разведка размещалась в нескольких маленьких комнатках и располагала штатом в дюжину людей, включая секретаршу, которая вот уже несколько месяцев не получала зарплату, потому что казна Мосада была абсолютно пуста. В тот же день Харэль отправился к Бен-Гуриону.

“Господин премьер-министр, — с нарочитой формальностью сказал он, — некоторые люди считают, что Израиль вполне мо-

жет обойтись без специальной разведки и что все ее задачи могут быть успешно решены разведкой армейской. Я придерживаюсь иного мнения и знаю, что вы со мной согласны. Но если израильская разведка обречена работать без денег и штатов, она способна только опозорить нашу страну. В таком случае я готов скорее согласиться с теми, кто предлагает вообще ликвидировать Мосад”.

В тот же вечер бюджет Мосада был увеличен вдесятеро. Харэль получил право набирать людей по своему усмотрению. Он не стал терять времени. Израильские агенты за границей были отозваны в страну и подвергнуты придирчивому допросу в кабинете нового шефа. Часть из них была после этого уволена, другие были отправлены на переподготовку. И тем, и другим Харэль говорил одно и то же: “Я предпочитаю вообще не иметь агентов, чем командовать людьми, которые не знают своего дела...”

В те времена кадры Мосада состояли в основном из бывших кибуцников, людей, пришедших в разведку, как и Харэль, во времена ишува. Они были самоотверженно мужественны и неистощимо изобретательны, но это не компенсировало отсутствия у них чисто профессиональной подготовки. Они блестяще действовали в своей собственной стране, в знакомой с рождения обстановке, но зачастую терялись, оказавшись в европейских столицах. Они не знали, как подзвать такси на улице Лондона и как выбрать вино в ресторанах Парижа. Они вообще не умели пить! Их немедленно распознавали по мелочам — по неумению смешать виски, поцеловать ручку даме и завязать галстук. И бывало, что этот непрофессионализм приобретал трагикомический характер.

Осенью 1949 года отдел Бориса Гуриэля подцепил на крючок жирную “рыбку”. Важный сан-сальвадорский чиновник согласился помочь в засылке израильского агента в Каир под видом — ни больше, ни меньше — генерального консула республики Сан-Сальвадор. Причем вполне официально! В Европе агент должен был получить сан-сальвадорский дипломатический паспорт на свое имя и все прочие документы и верительные грамоты, а в Каире его ожидала полная дипломатическая неприкосновенность. Какой разведке не снилась такая удача?

Гуриэль рассказал об открывшейся возможности Биньямину Джибли, и тот настоял, чтобы выбор агента поручили ему. Джиб-

ли выбрал самого подходящего из своих людей — человека, бегло владевшего испанским языком и хорошо знавшего Латинскую Америку. Согласно уговору с сан-сальвадорским чиновником, агента направили в Брюссель, где он должен был появиться в египетском посольстве, как только будет получено подтверждение его кандидатуры из Каира. Подтверждение было получено, и в назначенный день “консул” появился в посольстве, где его уже ждал приветливый египетский чиновник и чашка дымящегося кофе. Светская беседа затянулась почти на час. “Ну, что ж, — вздохнув, сказал наконец чиновник, — пора все же заняться бюрократическими формальностями. Я должен заполнить на вас небольшую анкету. Итак, место рождения...” — и он придвинул к себе лист бумаги.

— “Хайфа”, — сказал расслабившийся израильтянин!

В отличие от своих предшественников, Исер Харэль не был “дипломированным интеллигентом”. У него не было законченного образования, зато было множество предрассудков. Он был беспощадно требователен в работе и пуритански честен в жизни. Рассказывают, что когда один из его агентов, находясь в Европе, затеял роман и подчиненные потребовали от Харэля отозвать его, Исер искренне удивился: “Почему? Он взрослый человек и может сам присмотреть за собой...”. — “А жена?” — возразили подчиненные. — “Жена? — растерянно переспросил Исер. — Он женат? Тогда зачем ему другая женщина?”

Главной особенностью Харэля была способность внушать своим агентам предельную преданность делу — и себе лично. Тогда, как и сейчас, израильские разведчики вели трудную, опасную и одинокую жизнь, не получая взамен даже приличной зарплаты. Поэтому личный магнетизм Исера играл особую роль. Не обещая своим людям даже славы в награду, он посылал их на самые опасные операции, и они безропотно выполняли самые скучные поручения, потому что об этом просил “сам Исер”. Он никогда не говорил: “Я приказываю...” Он говорил: “Смотри, тут у нас такая проблема...” При всем этом он учил своих людей лгать, преступать законы и, если нужно, убивать. Один из них хорошо сформулировал его “философию общего дела”: “Исер хочет, чтобы эту грязную работу выполняли честные люди. Потому что если грязную работу начнут делать подонки, — Боже, сохрани Израиль!”

Но совмещение этих противоположностей не всегда оказыва-

лось возможным. И не всегда — безопасным. Порой чистые люди, делавшие грязную работу, подходили к той опасной грани, за которой открывалась пропасть.

Говорят, что этот микрофон американские инженеры разработали по специальному заданию ЦРУ. Он представлял собой круглую лепешку величиной с половину ногтя и толщиной в несколько миллиметров. С одной стороны лепешка была снабжена двумя металлическими усиками для захвата и крепления, с другой из нее выходил тонкий и гибкий хвост полутораметровой антенны. Благодаря своим габаритам микрофон хорошо вписывался в патрон электролампочки, ручку чайника и пуговицу плаща. Крохотные батареи обеспечивали несколько недель непрерывной работы. Антенна позволяла вести уверенные приемы на расстоянии в несколько сот метров.

Осенней ночью 1952 года небольшая группа людей бесшумно проникла в одну из комнат уголовного дома на тихой тель-авивской улице. Комната была нежилой, и поэтому группа могла беспрепятственно работать в ней до утра. В то же время это создавало дополнительные сложности. Мысль установить микрофон в стене была немедленно отвергнута. Голые, недавно оштукатуренные стены мерцали ровной, нетронутой белизной, на фоне которой любое — даже аккуратно заделанное — повреждение немедленно бросилось бы в глаза. Единственная лампочка висела слишком высоко, под самым потолком. Вся мебель состояла из простого некрашеного стола и нескольких расставленных вокруг него, таких же простых стульев. После короткого совещания техники выбрали стол. Микрофон был заделан в заднюю стенку выдвижного ящика — в зазор, остававшийся между нею и задней стенкой стола. Гибкая антенна обвивала всю длину стола под осторожно поднятой и так же тщательно уложенной на место крышкой. Принимающее устройство было размещено в специально для этого арендованной квартире стоявшего напротив дома. С раннего утра там был оставлен на дежурство техник с наушниками и пишущей машинкой.

Операция была бы рутинной, когда б не одно обстоятельство. Помещение, куда проникла группа, было штаб-квартирой партии Мапам. А стол с заделанным в него микрофоном принадлежал генеральному секретарю партии Меиру Яари, и за ним ежедневно происходили заседания партийного руководства. Несколь-

ко дней спустя подробности этих заседаний начали публиковаться в газетах бенгурионовской партии Мапай. Руководство Мапам осознало, что имеет место утечка самой секретной партийной информации. Поначалу решили, что утечка идет от кого-то из секретариата. Но когда эта возможность была надежно исключена, осталось единственное объяснение: штаб-квартира Мапам прослушивается людьми Мосада.

Харэль начал слежку за Мапам, еще будучи руководителем службы внутренней безопасности, Шин-Бет, в 1949 году. Вести эту слежку было трудно — Харэлю приходилось скрывать ее не только от Мапам, но и от некоторых собственных сотрудников, бывших пальмахников, которые активно сочувствовали левым социалистам. И хотя Харэль даже создал внутри Шин-Бета особый секретный отдел, занимавшийся только этой операцией и не включавший ни одного пальмахника, те вскоре обнаружили существование этого отдела и создали свой, еще более секретный "контр отдел", в задачу которого входило саботировать операции Харэля. Эта охота за охотником кончилась форменным скандалом, после которого главный вдохновитель саботажа — назовем его .. ну, скажем, Гидеоном — был уволен из Шин-Бета. Но он недолго оставался безработным — партия Мапам немедленно пригласила его возглавить ее "департамент самообороны". Самообороны от того же Харэля и его Шин-Бета. Харэль, знавший способности своего бывшего подчиненного, затаился. Время от времени Гидеону удавалось выявить того или иного агента Харэля внутри аппарата Мапам; однажды ему показалось, что телефоны Мапам прослушиваются, — но ничего достоверного он установить не смог.

И только теперь, осенью 1952 года, ему представилась долгожданная возможность. Теперь у него не было сомнений, что в комнате секретариата Мапам спрятан микрофон. Говорят, что он перевернул эту комнату буквально вверх дном и уже почти отчаялся что-нибудь найти, когда внезапно обратил внимание на то, что ящик стола закрывается не совсем гладко. Вытащив его полностью, он тут же обнаружил на задней стенке миниатюрную пластмассовую коробочку, а в ней — установленный людьми Харэля микрофон.

План действий созрел у него почти немедленно. Он гредложил Яари провести фиктивное заседание секретариата. Посреди одной из "речей", буквально на полуслове, Гидеон прервал очередного "оратора", осторожно открыл ящик стола и извлек мик-

рофон из его гнезда. Расчет был на то, что люди Харэля припишут перерыв в передаче внезапной неисправности микрофона и попытаются в одну из ближайших ночей исправить или заменить его.

Расчет оказался правильным. "Ремонтная бригада" действительно появилась на следующую же ночь — и, конечно, тут же оказалась в окружении сидевших в засаде людей Гидеона. Гидеон вел допрос стремительно и жестко — он справедливо опасался, что Харэль работает в контакте с полицией и постарается немедленно выручить с ее помощью своих незадачливых агентов. Сначала "техники" пытались выдать себя за обычных взломщиков, потом — за репатриантов из России, желавших "отомстить" Мапам за ее поддержку Советов. Но под конец они все же сознались, что действовали по приказу Харэля. Гидеон выбил из них это признание за считанные минуты до появления полиции.

На следующий день руководство Мапам созвало пресс-конференцию, на которой журналистам рассказали всю историю и продемонстрировали злополучный микрофон. В те дни публично упоминать Мосад было запрещено, поэтому люди Харэля были представлены как "информаторы Мапай" и "платные агенты Бен-Гуриона". Канцелярия премьера категорически отрицала всякую его причастность к подслушиванию. "Взломщики" предстали перед судом, где признались, что проникли в штаб-квартиру Мапам "с преступными намерениями", но отрицали, что имеют какое-либо отношение к микрофону. Они были приговорены к символическому наказанию, освобождены прямо из зала суда и исчезли так же бесследно, как появились. Израильский Уотергейт погас, едва вспыхнув.

Но суть его от этого не изменилась. Израильское общество, раздираемое борьбой политических сил, оказалось на краю пропасти. Как не раз до того (и не раз после), Израиль в тот миг стоял на грани превращения в тоталитарное государство (а его служба безопасности в орудие борьбы с собственным обществом). Он мог им стать — и не только в случае полной победы Бен-Гуриона, но, как это ни парадоксально, и в случае победы его противников слева. У Бен-Гуриона были реальные основания опасаться "советизации" Израиля в случае слияния Мапам с коммунистами. История повторяется, и Израиль мог повторить печальный российский опыт. Его политическая история первых лет во многом напоминает советский сценарий: так и тянет про-

изнести слова "левые эсеры", "правый уклон", "диктатура партии Мапай". Но в каких-то, самых узловых точках вдруг обнаруживаешь расхождение — и расхождение принципиальное.

Я не знаю, чем объяснить, что Израиль, не раз балансировавший на грани тоталитаризма, все же не перешагнул эту грань. Я думаю, это очень сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа. Я мог бы только припомнить кое-какие многозначительные детали. Например, Голда Меир вспоминала, что когда ее назначили первым израильским послом в Москве, она предложила членам посольства организовать коммуны. И они все по очереди, включая "госпожу посла", готовили, мыли и убрали. А когда у московской синагоги их встретила многотысячная толпа советских евреев, они все потом сидели молча в комнатах своей посольской коммуны и плакали. В этом что-то есть. Конечно, это не помешало той же Голде стать властным и жестким руководителем Мапай, а потом премьером Израиля, но ведь была и "кухня Голды", где "госпожа премьер" принимала министров в шлепанцах и переднике и готовила им чай... И еще я вспоминаю свой разговор с бывшим командиром израильских ВВС генералом Бени Пеледом. В газете "Гаарец" как раз тогда была опубликована подборка "Танки на кнессет" — о возможности военного путча в Израиле, и я спросил Пеледа, что он об этом думает. Он ответил: "Если бы я позвал генералов пойти на Дамаск, они бы, наверно, охотно за мной последовали. Но если я позову их штурмовать кнессет, они надо мной посмеются..."

Бен-Гурион, беспощадно боровшийся с Эцелем, Лехи, Пальмахом, Мапам за диктатуру в своей партии, тем не менее никогда не пытался — думаю, даже не помышлял — физически ликвидировать своих политических соперников. И точно так же потом, когда ему бросили вызов в его собственной партии, он не обратился к Харэлю, чтобы тот организовал "показательные процессы", а вышел из Мапай и создал новую партию, "Рафи" — а проиграв на выборах, смирился с поражением. И Менахем Бегин, в свое время не отказавшийся — в борьбе с англичанами — от взрыва гостиницы "Царь Давид", после эпизода с "Альталеной" отказался идти на гражданскую войну, не призвал своих соратников к новому "восстанию", а пошел путем легальным, демократическим — создал свою партию, и почти тридцать лет терпеливо сидел в оппозиции и ждал своего часа. И Исер Харэль, человек, сделанный из того же теста, что Бен-Гурион, не стал израильским

Берией. Так что история не повторяется вполне. И сходства обманчивы, как сказано в печальном анекдоте.

Кое-кто считает, что эти спасительные особенности таятся в генетической структуре еврейского типа. Другие утверждают, что это наше историческое наследие, и они, наверно, тоже в чем-то правы. Третьи полагают, что это традиции пионерства и сионизма, все еще сохраняющиеся в нашем обществе. Скорее всего, это комбинация истории, людей и обстоятельств. И пока, во всяком случае — пока, она поддерживает в израильском обществе равновесие противоборствующих тенденций. История со слезкой за Мапам это показывает. Бен-Гурион отступил. Но и Мапам не пошла дальше влево. Самые крайние в ней, во главе со Снэ и Берманом, вышли из партии и объединились с коммунистами, но сама Мапам осталась внутри сионизма. И вся борьба израильских партий осталась в рамках демократической политики. Более того — если окинуть взглядом все последующие десять лет, вплоть до окончательной отставки Бен-Гуриона в 1963 году, то мы увидим, что эти формы борьбы и шире — вообще демократические формы — постепенно завоевывали все больше места в израильской политической жизни, отодвигая на периферию, делая все более анахроничными авторитарные методы людей типа Бен-Гуриона и Харэля — и самих этих людей. Эпоха великих политиков, гениальных разведчиков и всемирно известных полководцев постепенно уступила место эпохе талантливых администраторов, пришедших к управлению государством, армией, разведкой. И хотя времена несомненно потускнели, но зато они выиграли в широте постепенно распространившегося на всю политическую жизнь демократизма.

Точно так же, как до 1963 года вся израильская политическая жизнь шла "под знаком" Бен-Гуриона, и все ее потрясения, бури и изменения были так или иначе связаны с его именем и его личностью, так история израильской разведки в эти годы была отмечена печатью личности Исера Харэля. Как руководитель разведки, Харэль был мастером, прежде всего, хитроумных и сложных "особых операций", которые требовали сочетания глубокого продумывания, дерзкого риска и врожденной интуиции — качества, которые у Харэля были в избытке. В этих "особых операциях" он был, пожалуй, непревзойденным асом своей профессии и тактическим разработчиком экстра-класса. Каждая из его

операций могла бы послужить темой увлекательного шпионского романа — и такие романы были написаны, целая библиотека, даже сам Харэль впоследствии не удержался от соблазна и написал “Дом на улице Гарибальди”, где рассказал историю того, как он поймал Эйхмана. Не всем этим операциям сопутствовал успех, но там, где он был (а это случалось чаще всего), успех этот был шумным и блистательным. Он способствовал не только укреплению официальных позиций Харэля в израильском истеблишменте, но и упрочению его непререкаемого авторитета и чувства собственной непогрешимости внутри Мосада. Разумеется, это было чревато специфическими осложнениями для самого Харэля, и они не замедлили последовать; но бесспорно, что именно Харэль и именно этими методами создал ту израильскую разведку, о которой мы все так наслышаны. Некоторые западные специалисты даже считают ее лучшей в мире. Другие, более сдержанные, говорят, что это преувеличение: разведка как разведка, такого же уровня, как американская, советская или английская (в ее лучшие времена). Что ж, для Израиля, с его крохотными ресурсами и возможностями, это замечательный комплимент. Увы, здесь не место и не время рассказывать обо всех подвигах этой разведки, перечислять все “особые операции” Исера Харэля — от истории Вольфганга Лотца в Каире и Эли Коэна в Дамаске до разоблачения советского шпиона Израиля Бера, похищения секретного доклада Хрущева (на XX съезде) и знаменитой охоты на Эйхмана. Поэтому я расскажу только об одной из этих операций — хотя бы потому, что хотя она совершенно нетипична для разведки вообще, зато очень типична для и з р а и л ь с к о й разведки и методов ее создателя, Исера Харэля.

Начало этой истории было почти неприметным. Ида и Алтер Шумахеры прибыли в Израиль в 1957 году из Польши. На первых порах семье трудно было сводить концы с концами, поэтому Шумахеры решили отдать своего малолетнего сына Иоселе на проживание к деду Нахману в иерусалимский религиозный квартал Меа-Шаарим, где живут, как известно, самые ультраортодоксальные — и самые ультраантисионистские — верующие евреи. Дед Нахман был одним из таких ультраортодоксов и внука задумал воспитать в своем духе. Поэтому когда в декабре 1959 года Шумахеры решили взять Иоселе обратно, дед решительно заявил, что не отдаст мальчика недостаточно религиозным родителям. После долгих препирательств те обратились в суд. Судья обязал Нах-

мана вернуть ребенка. Тогда Нахман заявил, что ребенка у него нет. Суровый старик отправился в тюрьму, но не выдал местонахождения Иоселе. В стране разразилась буря. Верховный раввин Иерусалима одобрил поведение Нахмана. Верховный суд назвал похищение ребенка "самым отвратительным преступлением в истории Израиля". Общество раскололось. Секулярные израильяне создали "Комитет спасения Иоселе", в ответ ортодоксы начали забрасывать камнями машины неверующих. Знакомая картина! Но в этот раз она осложнялась тем, что "дело Иоселе" едва не сорвало создание новой правительственной коалиции, в которой Бен-Гуриону необходима была поддержка религиозных партий. Поэтому в конце концов он вынужден был обратиться к Харэлю. И в марте 1962 года — три года не утихала эта история! — Харэль объявил своим изумленным сотрудникам, что они начинают новую "особую операцию" под кодовым названием "Тигр": с завтрашнего дня "весь Мосад" займется поисками исчезнувшего мальчика!

Последовала буря протестов. Харэля пытались убедить, что это дело полиции, а не государственной разведки. Но он был непреклонен. Мальчик должен быть найден, это поручение Бен-Гуриона, и он, Харэль, мальчика найдет.

Харэль взвалил на себя нелегкую задачу. Полиция, разыскивавшая Иоселе все эти годы, категорически утверждала, что мальчика нет в стране. Следовательно, его вывезли на Запад, и, конечно, это сделали Нахман и его друзья — фанатики из Меа-Шаарим. Но общины ультраортодоксов, где могли бы скрывать Иоселе, существовали чуть ли не во всех западных странах. Где искать? С чего начинать? Мало того, что ультраортодоксы жили сплоченными, замкнутыми группами — за долгие века преследований они развили в себе почти радарную чуткость к "чужому". Стоило людям Харэля появиться на улицах Голдерз-грин в Лондоне, Плетцля в Париже или Вильямсбурга в Бруклине, как их тут же опознавали, изобличали и с позором изгоняли. И сверх того они и сами чувствовали себя не в своей тарелке: шпионить за собственными братьями-евреями — и во имя чего?! Не для поимки опасного террориста, нет — чтобы найти какого-то пропавшего мальчишку. Но когда Харэль выходил на охоту, он уже не останавливался, даже если охота растягивалась на годы — как было, например, в случае Эйхмана. А если человек годами не-

уклонно идет к своей цели, то даже случай начинает к нему заинтересованно приглядываться.

Одному из агентов Харэля удалось сойтись с молодым религиозным евреем, и тот, в случайном разговоре, упомянул имя женщины необычайной судьбы. Женщина эта, по его словам, когда-то была участницей французского Сопротивления, потом перешла в иудаизм и стала весьма уважаемой в самых ультраортодоксальных еврейских кругах. Она даже жила какое-то время в Меа-Шаарим, но теперь опять уехала во Францию. Звали ее Мадлен Ферэ, и, по ее собственному утверждению, она происходила из католической семьи, хотя мать, кажется, была из рода марранов. В девятнадцать лет Мадлен вышла замуж и родила сына, в двадцать один развелась, а в двадцать три — влюбилась в молодого раввина и тайно перешла в иудаизм. Но тут грянула война, нацисты оккупировали Францию, и она ушла в подполье. Благодаря ее связям с партизанами крохотной общине молодого раввина удалось благополучно пережить оккупацию. Позже Мадлен окончила Сорбонну и уехала со своим раввином в Израиль, но увы — там он ее оставил и, покинув в Меа-Шаарим сына от своего первого брака, она возвратилась во Францию. Надо ли добавлять, что, судя по рассказу, Мадлен Ферэ была очаровательна, владела несколькими языками, отличалась решительностью солдата и хитроумием разведчика — короче, что она была точной копией отважных героинь приключенческих романов, с той разницей, что она действительно существовала. Где-то во Франции.

“Где она? Мы должны ее найти!” — сказал Харэль своим людям. Потому что, услышав этот рассказ, он немедленно почувал, что поймал путеводную ниточку. Кто-то вывез Иоселе из страны, и этот кто-то должен был располагать полным доверием ультраортодоксов, и он не должен был на них походить, и у него должны были быть связи на Западе. Если вдуматься — много ли подходящих кандидатов на свете? Ну, два, ну, три миллиона. Исер Харэль готов был поставить все свои ставки на одного из них — на Мадлен Ферэ.

Найти ее оказалось нелегко, но в конце концов это удалось. Люди Харэля обнаружили ее в Реймсе. Увы, удача была мимолетной. Видимо, почував за собой слежку, Мадлен Ферэ искусно запутала следы и ушла от агентов Мосада. “Она скрывается, — удовлетворенно пробормотал Харэль, когда ему доложили о

неудаче. — Это хорошо. Значит, у нее есть причины скрываться!”

Он разослал своих людей по градам и весям Франции. Он посадил их листать газеты и слушать радио. Он снова направил их в религиозные круги. И его упрямство снова вернуло ему удачу. Просматривая — в тысячный раз! — осточертевшие французские провинциальные газеты, кто-то из агентов увидел маленькое объявление о продаже загородного дома. Госпожа Ферэ продавала дом с обстановкой в окрестностях Женевы. Адрес тоже был указан. И телефон.

Вскоре госпоже Ферэ позвонили. Человек, представившийся представителем крупной фирмы (его верительные грамоты были в полном порядке), просил о встрече, чтобы обсудить вопрос о покупке дома. В назначенный день они встретились в Женеве. Покупатель попросил показать ему дом. Госпожа Ферэ согласилась. Когда они вошли в дом, “покупатель” быстро и ловко повернул ключ в двери. Навстречу госпоже Ферэ поднялись несколько незнакомых людей. Она не закричала, не стала сопротивляться. Она недаром была в Сопротивлении. Она просто замкнулась и отказалась отвечать. И два дня подряд люди Харэля не могли выбить из нее ни слова.

Еще раньше, когда Мадлен Ферэ была выслежена, Харэль вылетел в Женеву, чтобы лично присутствовать на последней стадии операции “Тигр”. Теперь ему пришлось в нее вмешаться. На третий день допроса он явился в дом к Мадлен Ферэ. Он был раздосадован и взбешен. Он и сам толком не знал, как сломить эту необыкновенную женщину.

Говорят, что ему на помощь опять пришел случай. Будто бы, листая ее заграничный паспорт в поисках дат ее въезда и выезда из Израиля, он натолкнулся на приколотую к странице фотографию девочки и сразу опознал в ней Иоселе. И будто бы это заставило Мадлен Ферэ заговорить. Но знающие люди утверждают, что все было куда менее романтично: когда Харэлю сообщили, что Мадлен Ферэ находится в руках его агентов, он позвонил в Израиль, и там его сотрудники немедленно арестовали ее сына. И тот, напуганный призраком суда, признался, что помогал матери вывезти Иоселе из страны. А затем Харэль явился в дом Мадлен Ферэ, чтобы представить ей показания сына.

Как бы то ни было, Мадлен Ферэ заговорила. История оказалась удивительной. Давние знакомые из Меа-Шаарим действи-

тельно попросили ее вывезти Иоселе. И она разработала план, достойный, пожалуй, самого Харэля. Она отправилась в Израиль морем; на корабле она познакомилась с австрийской парой, у которой была маленькая девочка; она сблизилась с ними настолько, что, сходя на берег, взялась вести девочку за руку, пока родители будут возиться с багажом; в результате она зарегистрировалась на паспортном контроле как мать с маленькой девочкой. После этого ей уже нетрудно было и выехать из страны с "дочерью" — только на сей раз ею был переодетый и загримированный Иоселе. Из Парижа она переправила мальчика в Америку. И сейчас он находился в Бруклине: в семье Гертнер, проживающей по улице Пенн 126.

Харэль тотчас связался с израильским послом в Вашингтоне. Посол сказал, что могут быть трудности: надвигаются выборы, претендентам нужны еврейские голоса, сейчас не время раздражать ультраортодоксов. Харэль в бешенстве потребовал, чтобы посол немедленно связался с генеральным прокурором Соединенных Штатов Робертом Кеннеди. Этого оказалось достаточно. Несколько часов спустя Иоселе был уже на пути в Израиль. Операция "Тигр" закончилась очередным триумфом Исера Харэля.

Но удивительная история Мадлен Ферэ — или Рут Бен-Давид, как она именovala себя в Израиле, — на этом не закончилась. Вскоре Рут окончательно переселилась в Израиль. Здесь она познакомилась с духовным главой ультраортодоксальной секты "Нетурей Карта" равом Амрамом Блой. Ей было тогда сорок пять лет, ему — на двадцать лет больше, но, по ее словам, это была "любовь от Бога", то есть — с первого взгляда. После смерти рава Амрама Рут стала его духовной преемницей. Она по-прежнему живет в Меа-Шаарим и по-прежнему остается ультрарелигиозной еврейкой и яркой антисионисткой: в День Независимости она постится, как в траурный день, и на дверях ее дома висит табличка: "Еврей не может быть сионистом". Время от времени она ездит в арабские страны; она встречалась с Арафатом и Хомейни (впрочем, Арафат ей не понравился); она ненавидит все израильские партии, включая религиозные; она уверена, что рано или поздно Израиль будет уничтожен Россией; и она ждет прихода Мессии. Ее сын Ариэль (которому она, в конце концов, простила "измену") отошел от "Нетурей Карта" и живет отдельно. И время от времени ее посещает странный в этих местах гость —

явно нерелигиозный молодой человек, без пейсов и бороды, зато часто в военной форме — некий Иоселе Шумахер...

Операция "Тигр" была предпоследней экстраординарной операцией Исера Харэля. Год спустя он вошел в острый конфликт с Бен-Гурионом и вынужден был уйти в отставку. Дело было не только и не столько даже в личном конфликте, сколько в том, что Харэль, ведомый азартом погони, на сей раз увлекся и слишком положился на самого себя — как постепенно привык полагаться за все эти годы своего единоличного и авторитарного властвования в Мосаде. И на сей раз интуиция его подвела...

Новые ветры уже шумели в это время в коридорах израильской разведки. Правда, они не могли сразу ворваться в плотно запертые двери кабинета, где обдумывал свои операции шеф Мосада Исер Харэль, но уже свободно гуляли по другим комнатам и, прежде всего, в кабинетах военной разведки. В 1955 году, после ухода Биньямина Джибли, руководителем Амана был назначен Иошафат Харкави по прозвищу "Толстяк" — выдающийся израильский арабист с дипломом доктора философии, человек с проницательным аналитическим умом и склонностью к широким обобщениям. Харкави был первым руководителем военной разведки, которому пришлось столкнуться с проблемой палестинского терроризма — именно в его годы начались атаки засылаемых из Египта федаинов, и Харкави был инициатором нескольких операций, в ходе которых удалось ликвидировать египетских офицеров, занимавшихся подготовкой этих атак. Но, пожалуй, главной заслугой Харкави оказалось то, что он первым понял новые задачи, вставшие перед израильской военной разведкой после Синайской кампании 1956 года, — и то, что привлек к решению этих задач легендарного Юваля Неемана.

Войну в Синае израильтяне выиграли блестяще. Но в ходе ее выявилось, что они все же плохо представляли себе театр будущих сражений и армию будущего противника. Такое знание требовало сбора огромной информации, непрерывной ее обработки и своевременного пополнения. Прежние методы добывания этой информации были доморощенными, методы ее обработки — громоздкими, и в результате знание о противнике непрерывно отставало от самого противника. Нужна была, как говорят сейчас,

научно-техническая революция, и эту революцию в израильской разведке совершил Юваль Нееман.

Этот молодой и блестящий физик — тоже с дипломом доктора наук — пришел в Аман в 1954 году и провел здесь почти десять лет. Помимо докторского диплома у него были кое-какие идеи. И эти идеи он изложил израильским генералам. По существу, он сказал им следующее. Будущая война будет выиграна электроникой и компьютерами раньше, чем прозвучит первый выстрел на поле боя. Только эта новая техника может обеспечить непрерывное обновление военной информации и своевременную ее обработку. Для Израиля, с его крохотной географической протяженностью, знание ежеминутной военной ситуации и намерений противника играет жизненно важную роль. Поэтому первоочередной задачей израильской армии является создание электронных средств разведки и выдвижение их как можно дальше в сторону армий противника. К этим средствам сбора информации нужно добавить мощные компьютеры, которые могли бы молниеносно обрабатывать всю массу получаемых сведений, потому что люди с этой задачей не справятся.

Поначалу генералы отнеслись к этим идеям недоверчиво. Они понимали, что новые времена требуют новых методов, но считали, что самая радикальная новинка — это атомная бомба. У Неемана и здесь были свои соображения. Он развернул перед генералами свою программу создания израильской атомной промышленности, которая в конечном итоге могла бы производить плутоний в количествах, достаточных для снаряжения одной небольшой — хиросимского калибра — атомной бомбы в год. Но он не переставал настаивать на компьютеризации и "электронификации" израильской разведки. Эта его программа требовала затрат в миллиарды долларов, но Нееман был уверен, что затраты окупятся с лихвой. Ведь речь шла о самом существовании Израиля. И в конце концов он убедил всех.

Получив "добро", Нееман привлек в разведку талантливых молодых физиков, электронщиков, компьютерщиков; вместе с ними он разработал совершенно новые, уникальные приборы, специально предназначенные для разведывательных целей. Его компактные электронные станции подслушивания были едва ли не лучшими в мире; созданная им система обнаружения атомных подводных лодок была уникальной и немедленно завоевала признание НАТО. Станции Неемана подобрались вплотную к передо-

вым линиям арабских армий в Синае и у подножия Голан; компьютеры Неемана обрабатывали полученные данные; по специальным программам Неемана шел допрос всех попавших в плен египтян и сирийцев, и данные этих допросов тоже поступали в компьютеры; даже западные разведывательные спутники работали на компьютеры Неемана.

Это была кропотливая работа, несколько не похожая на блестящие операции Харэля и его Мосада, и не имевшая таких эффектных результатов. Это была "тихая революция", но именно она позволила израильской военной разведке вскоре превзойти по технологической оснащенности британскую и французскую и сравняться с американской. "Момент насыщения" наступил за несколько лет до Шестидневной войны. Израильская разведка словно "прозрела" и, как гоголевский герой, стала видеть "далеко-далеко". Перед ней стала вырисовываться общая картина всего, что происходило в арабских армиях — от штабов до самых малых подразделений. Можно с уверенностью сказать, что без неемановской революции молниеносная победа израильских ВВС в Шестидневной войне была бы невозможна.

Голда Меир вспоминает в своей автобиографии — и ей нельзя не поверить, — какое мрачное чувство обреченности застигло весь израильский горизонт накануне этой войны. Она говорит об ощущении надвигающейся "второй Катастрофы", о жутком страхе перед сокрушительной мощью арабской авиации. Было понятно, что исход войны и само существование Израиля зависят от того, удастся ли заблаговременно нейтрализовать арабские воздушные армады.

Такой превентивный удар требовал абсолютно точного расчета. Следовало заранее знать не только расположение всех военно-воздушных баз противника, но и всех самолетов на этих базах; и не только расположение самолетов, но и распорядок дня личного персонала — потому что нужно было выбрать такое время, когда самолеты уже выведены из ангаров, но еще не заправлены горючим; когда техники уже возятся с двигателем, но летчики еще прогуливаются после завтрака, обсуждая предстоящий день; короче, нужно было знать обстановку на египетских и сирийских аэродромах так детально, как может их знать только человек, долгие месяцы на них работавший.

У Амана не было таких агентов, да и невозможно было бы заслать их на все аэродромы. Зато у Амана были накопленные

в компьютерах тысячи тысяч деталей, собранных во время допросов, в ходе электронного подслушивания линий противника, с помощью аэрофотосъемки и прочих, и прочих методов. Обработанные с помощью хитроумных программ, эти ничтожные и несущественные, казалось бы, обрывки разговоров, клочки сведений и крупницы информации сложились в полную, четкую и ясную картину, дали точнейшую схему всей арабской аэродромной жизни и указали единственно подходящие час и минуту самого эффективного бомбового удара: 7 часов 30 минут утра, ни получасом раньше (самолеты еще будут в ангарах), ни получасом позже (они уже будут в воздухе). 5 июня 1967 года в 7 часов 30 минут утра израильская авиация нанесла свой удар, уничтожив за пять минут свыше четырехсот самолетов противника. Шестидневная война была выиграна.

Говорят, что когда командующий израильскими ВВС генерал Мордехай Ход узнал о результатах этого удара, он сказал: "Это превосходит самые безумные мои надежды!" На что один из присутствовавших тут же сотрудников Амана заметил: "Вы, наверно, спали во время наших инструктажей. Иначе вам нечему было бы удивляться..."

В 1959 году шефом Амана стал Хаим Герцог, а когда три года спустя он ушел по собственному желанию, на его место, по рекомендации Даяна, был назначен генерал Меир Амит. Это был "генерал из солдат", так и не забывший своих солдатских привычек — уже будучи в генеральском чине, он пошел на парашютные курсы и прыгал вместе с молодыми десантниками. Это ему дорого обошлось: во время одного из прыжков его парашют раскрылся только частично. Так кончилась его строевая карьера.

Харэль сопротивлялся назначению. Он чувствовал в Амите конкурента. Но генеральный штаб настоял на своем кандидате.

Амит действительно принес в Аман новые идеи, поддерживаемые почти всем молодым генералитетом. Израильская разведка, говорил он, должна сосредоточить свои усилия на "странах конфронтации", чтобы подготовить страну на случай войны. Поэтому то, что делает Нееман, — это хорошо, а вот то, что делает Харэль — не очень. Конечно, его "особые операции" блестящи, но лучше бы он не гонялся по всему свету за бывшими нацистами и похищенными детьми, а направил усилия своих агентов на сбор информации об арабских армиях.

Атаковать Харэля означало атаковать живую легенду израильской разведки и посягать на авторитарную власть шефа Мосада. Многие считали, что Амиту не сносить головы. Но времена были уже не те. И Бен-Гурион уже не так стоял за "своего" Исера. Раньше, когда ему жаловались на Харэля, он отвечал, что Исер делает свое дело, и не беда, если при этом полетит несколько щепок. Теперь Амит заявлял, что если Исер и делает свое дело, то он делает его не очень хорошо. И щепки летят лишние. Его методы устарели. Он живет от операции к операции — этакий супершпион, гастролирующий на всемирной сцене вместо того, чтобы быть эффективным руководителем современной секретной службы.

В критике Амита было много справедливого. И это вскоре подтвердилось. 6 июля 1961 года Израиль запустил свою первую ракету "Шавит". Официально она называлась "метеорологической", но мало кто сомневался в ее военном назначении. И вот, почти ровно год спустя, 21 июля 1962 года, египтяне запустили сразу четыре своих ракеты — две "Аль-Зафир" с дальностью 250 километров и две "Аль-Кахир" с дальностью 450 километров! И выяснилось, что Мосад ничего не знал о египетской ракетной программе. "На что мы тратим средства, отпущенные на разведку, — язвительно вопрошал Амит, — если нам приходится узнавать о событиях из выступлений Насера по радио. Дешевле было бы купить Харэлю транзистор..."

Взбешенный и уязвленный Харэль обещал Бен-Гуриону выяснить все подробности египетских работ не позднее, чем через три месяца. Он представил свой доклад меньше чем через месяц. В сущности, как оказалось, многие данные давно уже были в его папках — он "просто" не придавал им особого значения. Теперь же перед ним вырисовалась картина, которая привела его в ужас. Мало того, что на египтян работали многие немецкие ученые, законтрактовавшиеся из ФРГ; мало того, что египтяне планировали (как это следовало из обнаружившегося в папках донесения о заказе руководителя программы профессора Пильца) создать целый арсенал боевых ракет; но в числе специалистов, работавших в Каире, были эксперты по расщепляющимся материалам, химическим отравляющим веществам и бактериологическому оружию. Мысленным взором Харэль уже видел сотни египетских ракет, обрушивающихся на Израиль свои атомные, химические, бактериологические боеголовки!

Напротив, Меир Амит был склонен, скорее, преуменьшать значение того, что делали египтяне. Имея отличный исследовательский отдел, унаследованный от Харкави и Герцога, он был способен отличить факты от фантазий. Египтяне, докладывая ему, еще весьма и весьма далеки от того, чтобы всерьез угрожать Израилю. А разговоры Харэля о "боеголовках" он просто высмеивал — открыто и язвительно. Харэль пытался убедить Бен-Гуриона. Он хотел уговорить премьера, чтобы тот потребовал от канцлера Адэнауэра отозвать из Египта всех подданных ФРГ — в противном случае он-де рискует испортить отношения с Израилем. Это был дурной совет: Адэнауэр никого "отозвать" не мог, так что угроза могла привести только к порче отношений, ничего не дав взамен.

Две ветви израильской разведки столкнулись в оценке ситуации (как это случилось и позже, перед войной в Ливане) не просто потому, что их руководители по-разному эту ситуацию "прочли". Они еще вдобавок принадлежали к разным политическим лагерям. Амит солидаризовался с "молодыми львами" бен-гурионовского окружения, Пересом и Даяном, которые стремились к сближению Израиля с Европой, в первую очередь — с ФРГ и Францией, готовыми поддержать израильскую атомную программу; Харэль связал свои политические надежды с лагерем ветеранов Мапай, руководимых Голдой Меир, которая выступала за максимальное сближение с Соединенными Штатами и за программу конвенционального вооружения Израиля.

Харэлю нужны были доказательства, чтобы убедить — и победить — оппонентов. Неудивительно, что он буквально уцепился за сообщение симпатизировавшего Израилю австрийского ученого Йоклика, который именно в этот момент вошел в контакт с агентами Мосада в Европе. Йоклик сообщил им, что Египет разрабатывает "атомную бомбу для бедняков" — из смеси стронция и кобальта; достаточно взорвать одну такую бомбу над Израилем, и атмосфера над страной будет отравлена на многие поколения. Харэль решил, что интуиция и на сей раз его не подвела — египтяне действительно готовят Израилю ядерный Армаггедон. Ну, что ж, если правительство ФРГ ни на что не способно, придется прибегнуть к другим методам. "Мы должны наемкнуть этим господам, — сказал Харэль, имея в виду немецких ученых, — что поездка в Каир — все равно, что визит на линию фронта..."

Этимися словами он начал инструктаж участников новой "осо-

бой" операции -- "Дамоклов меч". Она была рассчитана на то, чтобы побудить немецких специалистов убраться из Египта и тем самым остановить всю египетскую ракетную программу. На первом этапе каждому из специалистов было направлено анонимное предостерегающее письмо. Когда это не помогло, Харэль перешел к "прямым методам" — разрешение на них он выбил у правительства вопреки возражениям Амита. В течение нескольких месяцев, с сентября 1962 по февраль 1963 года, в канцеляриях немецких фирм и кабинетах немецких ученых, работавших на Каир, взорвались несколько пакетов, присланных обычной почтой, но содержавших не совсем обычное послание. Были жертвы среди персонала фирм и самих ученых. А затем Йоклик вместе с агентом Харэля в Швейцарии Бен-Галем сделали попытку шантажировать дочь ведущего специалиста каирской программы профессора Герке. И тут операция Харэля потерпела провал. Дочь Герке обратилась в полицию, Йоклик и Бен-Галь были арестованы и предстали перед швейцарским судом. Запахло международным скандалом. Бен-Гурион потребовал от Харэля мобилизовать израильскую и западную печать для освобождения арестованных, а шум вокруг египетских ракет приглушить. Харэль, однако, поступил прямо противоположным образом. Теперь он был уверен, что правительство ФРГ вступило в сговор со швейцарцами и что вокруг евреев опять создается чуть ли не всемирный заговор. Собрав израильских журналистов, он представил им дело в такой сенсационной форме, что в печати началась подлинная истерика — некоторые газеты договорились даже до "пучей смерти", которые, якобы, разрабатываются в Египте. Меир Амит, спокойно наблюдавший за тем, как Харэль топит себя, отреагировал в своем обычном язвительном духе: "Я-то думал, что Египет всего-навсего хочет уничтожить Израиль, а он, оказывается, намерен завоевать весь мир..." Но дело становилось серьезным. Голда Меир, тоже склонная видеть мир в черно-белом свете, торжественно заявила с трибуны кнессета, что немецкий народ и немецкое правительство будут нести всю ответственность за производство Египтом "оружия для уничтожения Израиля". Это была последняя капля. 24 марта 1963 года Бен-Гурион вызвал к себе Харэля и заявил, что не доверяет его оценке ситуации и его оперативным методам. 25 марта Харэль позвонил в канцелярию премьера и попросил, чтобы кто-нибудь пришел взять у него ключи — он не намерен работать "без доверия", поэтому он по-

кидает Мосад. Навсегда. В одиннадцать утра он очистил свой стол, упаковал немногие личные вещи и вышел из своего кабинета. Вместе с ним вышла за дверь целая эпоха.

Усмирять поднятую бурю довелось Амиту. Именно он, в конце концов, был назначен преемником Харэля на посту шефа Мосада; руководителем Амана стал Аарон Ярив. Как ни странно, "дело с ракетами" закончилось неожиданно благополучно и даже с прибылью для Израиля. Швейцарский суд отнесся к Йоклику и Бен-Галю необычно мягко, приняв во внимание, что они действовали в интересах защиты своего государства от возможной смертельной опасности; симпатии западной прессы тоже оказались на их стороне; большинство немецких специалистов, встревоженных начавшейся вокруг них шумихой, покинули Каир; и в конце концов выяснилось, что египетская программа была "обычной" ракетной программой, как и предполагал Амит.

Позже Харэль доказывал, что он ушел, чтобы спасти "репутацию Бен-Гуриона". В действительности он ушел из гордости. Он разучился терпеть соперников, работать с равными себе, выслушивать возражения, корректировать свою интуицию данными аналитиков, снисходить до чужих мнений. Он стал "сам себе Мосад".

Меир Амит быстро в этом убедился. Ему попросту оказалось не с кем работать. Для многих Харэль — это и был Мосад, и они ушли вместе с Харэлем. Другие не знали, что им делать без его "руководящих указаний". За эти годы Мосад превратился в организацию, нацеленную исключительно на "особые операции", возникавшие в уме Исера Харэля; в остальном он жил ото дня ко дню, без плана, без цели, без единой задачи. Конечно, Харэль был выдающимся человеком, разведчиком высшего калибра, и он поднял Мосад на небывалую высоту, — но для людей "просто способных" это была высота почти безвоздушного пространства.

Времена "отцов народа" кончались не только в Израиле, но и во всем мире. Меир Амит, генерал-администратор, был выразителем новой эпохи. Первым делом он реорганизовал Мосад сверху донизу. Он ввел структуру отделов, и этим расширил диапазон разведки в целом (хотя и сузил кругозор каждого отдельного руководителя). Он создал специальное оперативное подразделение, и тем самым обеспечил выполнение "особых операций" (хотя они никогда уже не занимали потом такого места

в работе израильской разведки, как при Харэле). Он восстановил деловое и постоянное сотрудничество Мосада с Аманом, обогатив военную разведку дополнительными, оперативными возможностями (хотя это во многом изменило фронт "работ" Мосада). Короче, — при Амите Мосад стал наконец тем, к чему он должен был прийти — государственной разведывательной службой — со всеми достоинствами и недостатками любой государственной службы. Меньше яркости, зато больше деловитости; не так много "звезд" — зато много талантливых исполнителей; мало эффектов и сенсаций — зато масса добротной, надежной, солидной информации. Что лучше — килограмм гвоздей или полпуда гаек?

Впрочем, было бы несправедливо по отношению к Амиту все время подчеркивать только его административные, организационные, так сказать — чиновничьи качества. Амит тоже был выдающимся мастером шпионской интриги — других, как могли бы сказать в Мосаде, "не держим". Он вполне мог бы состязаться в этом с самим Харэлем, просто времена были другие, и свои задачи он понимал иначе. Но и на его счету оказалось немало блестящих разведывательных успехов, которым позавидовала бы не одна секретная служба мира. Самым фантастическим из этих его успехов было похищение новейшего советского истребителя, — тогда это был Миг-21, — совершенное в 1966 году в Багдаде. Фантастической эта история была не только по дерзости — типично израильской, и четкости — типично амитовской, но и по обстоятельствам, которые ее сопровождали. Ибо они заставляли немедленно вспомнить о сказках "Тысячи и одной ночи"...

Уже начало было необычным — такого не придумал бы никакой Ле-Карре. В один, как говорится, прекрасный день в израильское посольство в Париже явился старый иракский еврей, который попросил свидания с "главным". "Главного", то есть посла, не было, а может, он не захотел выходить к такому рядовому посетителю, и старого еврея принял молодой чиновник. Старый еврей поклонился, помолчал, потом тихо сказал по-французски: "Мой друг Иосиф просил меня передать, что если вас интересует Миг-21, то вы должны ему позвонить по этому телефону в Багдаде". Он подал чиновнику листок с телефонным номером, еще раз поклонился и исчез.

Интересовал ли израильскую разведку новый советский Миг? Ого! А кого он не интересовал? Все разведки мира выстроились

бы за ним в длинную очередь. Единственная трудность состояла в том, что Москва ревниво хранила свои секреты. И новые Миги почти не покидали советскую территорию. Исключение составляли три эскадрильи, посланные в "дружественные" Сирию, Египет — и Ирак. Конечно — в сопровождении советских "военных советников".

Теперь нужно представить себе, как выглядела ситуация в глазах сотрудников Мосада, куда молодой чиновник, посмеявшись в кулак, все же направил донесение о странном посетителе. С одной стороны — самый секретный, самый, можно сказать, охраняемый самолет в мире. С другой — какой-то никому неизвестный Иосиф, тоже наверно старый еврей, сидит в Багдаде и ждет телефонного звонка, чтобы помочь Израилю заполучить этот самолет. Шехерезада! Тысяча и одна ночь! Арабские сказки!

Только один человек в Мосаде отнесся к этой истории серьезно — и это был Меир Амит. И почувяв, что тут, может быть, что-то есть, он поручил одному из своих сотрудников (назовем его, допустим, "Моше") заняться этим делом.

"Моше" был уверен, что их просто тащат в ловушку. Поэтому его первоначальный план исходил из расчета на неминуемый провал агента. На этот случай агенту ничего не следовало сообщать, кроме самой истории, имени Иосифа и номера телефона. "Моше" нашел подходящего агента. Им был Йосеф Мансур, сабра, сын сабры и внук сабры, парашютист-десантник с дипломом арабского факультета Еврейского университета. "Моше" предупредил Мансура, что тот, скорее всего, идет в ловушку. Амит тут же вмешался и начал объяснять, как важен Израилю советский Миг. "Моше" был человек грубый, поэтому он перебил шефа и сказал открытым текстом: "Этот Миг для нас важнее, чем жизнь агента. Поэтому ты еще можешь отказаться". Как полагается всякому опытному разведчику, "Моше" был хорошим психологом и знал, когда нужно "резануть грубо, по-солдатски". Мансура его слова, конечно, только подхлестнули.

Все же Амит решил подстраховать своего агента. С этой целью он рискнул одной из самых успешных своих операций. Уже несколько лет подряд на него успешно работала "фирма-прикрытие" в Европе; она поставляла электрооборудование в арабские страны, и это позволяло засылать туда агентов Мосада под видом ее "сотрудников". Теперь таким "сотрудником" был сделан Мансур. Его наскоро накачали сведениями о рентгеновских аппара-

тах, которые он будет "продавать"; и на всякий случай Амит распорядился отозвать всех остальных "сотрудников" фирмы из столиц арабского мира, где они находились. В случае провала Мансура "фирма", конечно, "сгорит", но, по крайней мере, агенты уцелеют.

Пока шла вся эта подготовка, старый Иосиф в Багдаде сидел, надо полагать, в своем доме, или гулял по улицам, или еще чем-нибудь таким занимался, и терпеливо ждал телефонного звонка от агентов Мосада из далекого Израиля. Он сделал свое дело — послал весточку в далекий мир, и теперь ждал ответа. Он не спешил. К чему? Если покупатель заинтересован, покупатель придет. Не сегодня, так завтра. Послезавтра. Через год. Какая разница? На Востоке не любят спешить.

Мансур провел в Багдаде неделю, прежде чем решился позвонить по указанному номеру. Наконец он понял, что не может больше оттягивать. В тот день он обедал с двумя чиновниками из министерства здравоохранения, которое заинтересовалось его рентгеновскими аппаратами, и посреди обеда, извинившись, вышел к телефону. Ноги у него дрожали. Прошла, наверно, вечность, прежде чем на другом конце сняли трубку. Услышав "Алло", Мансур окончательно растерялся. У него не было никакой условленной фразы, никакого кода, поэтому он выпалил напрямик: "Вы действительно Иосиф?" К счастью, на той стороне провода были так же спокойны, как волновались на этой. — "Вы тот человек, который разговаривал с моим приятелем?" — спросили оттуда. И не успел Мансур опомниться, как он уже согласился встретиться с Иосифом завтра в полдень, в кафе в центре города. Это шло вразрез со всеми правилами шпионажа, которым учили в Мосаде: агент сам должен назначать место и время встречи, чтобы прийти и осмотреться заранее; агент не должен давать своих примет для опознания — он должен их требовать у контрагента... Теперь Мансур не сомневался, что сам приготовил себе ловушку.

Тем не менее на следующий день он сидел в назначенное время на террасе назначенного кафе и тоскливо ждал, когда тяжелая лапа иракского полицейского опустится на его плечо и грубый голос произнесет по-арабски: "Вы арестованы!" Немудрено, что он чуть не упал со стула, когда ровно в полдень за его стол легкомысленно присел пожилой человек и тихим голосом мягко сказал: "Я Иосиф".

Сначала Мансур решил, что его разыгрывают: этот пожилой еврей не мог иметь никакого отношения к Мигу. Он не мог быть даже поваром, даже уборщиком на секретном аэродроме. И он никак не мог быть осведомителем иракской полиции. Но Иосиф молчал, нужно было что-то говорить, и Мансур выдал из себя: "Мы... э-э... заинтересованы в предложении... э-э... вашего приятеля...". — "Вы имеете в виду Миг?", — уточнил Иосиф. Мансур только кивнул. Теперь ему было жутко. Что он здесь делает? Почему он всерьез обсуждает с этим тихим, вежливым человеком, может быть — одним из последних евреев, оставшихся в Ираке, проблемы международного шпионажа? — "Это будет стоить много денег, — задумчиво сказал Иосиф. — И займет много времени. Но я думаю, что это возможно..."

Далее, как того и требуют каноны "Тысячи и одной ночи", последовала "вставная новелла Иосифа". Новелла была удивительная и — правдоподобная. Всю свою жизнь он служил в доме богатых багдадских христиан-маронитов. Он был преданным и верным домоправителем у нескольких поколений семьи. Но однажды: кто-то из домашних всердцах бросил ему: "Грязный еврей!" Он не почувствовал себя оскорбленным — он почувствовал себя евреем! Прозрение заняло несколько лет. Оно свело его с другими уцелевшими евреями. Он стал думать, что он может сделать для евреев, для Израиля. И он придумал.

Семья, в которой Иосиф служил и которой, несмотря на все, остался верен, чувствовала себя в Ираке все хуже и хуже. Преследования христиан усиливались, и глава семьи хотел бы уехать. Но было торговое дело в Багдаде, был старший сын, служивший в иракских ВВС, было много родственников. Как эмигрировать — без денег, без помощи, без сына? Иосиф связал все эти узелки в едином и гениально простом плане. Сын-летчик, Мунир Редфа, летал на советском Миге. Наверно, израильтянам пригодится этот новый секретный самолет? Возможно, они за него хорошо уплатят? И тогда семейство Редфа сможет покинуть Багдад, не опасаясь за свое будущее. Он, Иосиф, много слышал от Мунира, на каком важном самолете тот летает. И он думает, что Мунира удастся уговорить доставить этот самолет в Израиль — ради спасения семьи.

— "Сколько это будет стоить?" — сдавленным голосом спросил Мансур.

— “Полмиллиона фунтов стерлингов, я думаю”, — ответил Иосиф, как будто речь шла о нескольких пиастрах.

Мансур вернулся в Израиль, уверенный, что Иосиф рассказал правду. Но ему трудно было убедить других. Они не видели Иосифа. Один Амит поддержал Мансура. Остальные сотрудники считали, что старый еврей, в худшем случае, работает на иракскую разведку, в лучшем — просто вымогатель, который обязательно потребует денег вперед.

И на втором свидании с Мансуром Иосиф действительно потребовал деньги вперед. Ему будет очень трудно убедить хозяев, сказал он. Нужны доказательства, что их не обманут. Они пошлют вперед дядю, как будто бы лечиться в Швейцарии, и израильтяне должны дать ему четверть миллиона.

Это была рискованная игра. Но неожиданно Амита поддержал начальник генштаба Ицхак Рабин. Правительство дало “добро”. И колеса Мосада завертелись. “Моше” приступил к разработке операции.

Он не оставил своих сомнений. Поэтому первым делом он отозвал из Ирака всех работавших там агентов Мосада, — чтобы сохранить их для будущего в случае провала Мансура. Затем он создал пять оперативных групп. Первая состояла из самого Мансура и его радиста — они должны были поддерживать контакт с Иосифом и семьей Редфа. Вторая, из четырех человек, осуществляла тайное прикрытие Мансура (без его ведома) и в случае необходимости должна была попытаться спасти первую группу. Третья группа — из трех человек — должна была вести электронное наблюдение за домом Редфа (эта группа не сумела получить никаких серьезных сведений и была вскоре отозвана, чтобы не возбудить лишних подозрений). Четвертая группа, из шести сотрудников Амана, была направлена в иракский Курдистан, с руководителем повстанцев которого, шейхом Барзани, у израильтян были “неплохие” отношения; задачей группы было организовать помощь курдов для эвакуации семьи Редфа. Наконец, пятая группа отправилась на ирано-иракскую границу (не забудем, это происходило в добрые, старые мирные времена, когда у Израиля с иранским шахом существовало молчаливое взаимопонимание). Эта группа обосновалась в пограничном иранском городе Ахваз, чтобы встретить там семью Редфа после ее бегства из Ирака. По специальным каналам были также запрошены правительства Соединенных Штатов и Турции — нужно было обеспечить Мигу

Мунира Редфа возможность промежуточной заправки на американской базе в Турции, потому что советские "советники" в Ираке — на всякий случай — не выпускали иракских пилотов в воздух с полными баками.

Иосифу понадобилось четыре месяца, чтобы "обработать" семейство Редфа. Сначала он убедил главу семьи в осуществимости своего плана. Затем план был открыт Муниру. Тот долго не соглашался. Он понимал опасность, нависшую в Ираке над семьей, он даже готов был дезертировать вместе с самолетом, — но иракский "патриотизм" удерживал его от сделки с израильянами. Тогда Амит сообщил своим американским коллегам, что держит на крючке советский Миг и нуждается в помощи, чтобы вытащить добычу. Спустя несколько дней некий американский дипломат, аккредитованный в Багдаде, тайно встретился с Муниром и объяснил ему, какую услугу он может оказать всему Западу в борьбе с Советами. После этого дипломат немедленно покинул Багдад, чтобы больше никогда туда не возвращаться — в случае, если Мунир доложит властям о встрече. Но Мунир не доложил. После заверений американского дипломата он отбросил прежние колебания.

Можно было начинать операцию. Дядюшка в Швейцарии получил свои четверть миллиона; в Багдаде все было готово. Но Амит еще медлил. Он хотел поставить последнюю точку в сценарии. И поэтому он решился на беспрецедентный шаг — он пригласил иракского пилота Мунира Редфа... в Израиль! Член одной из оперативных групп в Багдаде, молодая, красивая женщина, выдававшая себя за богатую американку, "сблизилась" с Муниром, и окружающие сочли вполне естественным, что очередной короткий отпуск молодой пилот решил провести со своей новой знакомой в Париже. Там Мунир получил фиктивные документы, позволившие ему, не вызывая подозрений, прибыть в Израиль. Его встретил глава израильских ВВС, который на профессиональном языке объяснил ему, насколько надежно продумано и подготовлено его бегство. Но для Амита цель "визита" Мунира в Израиль состояла не только в том, чтобы успокоить пилота; в действительности он хотел отрезать ему пути назад — побывав в Израиле, Мунир Редфа бесповоротно становился "изменником родины". И это был последний мастерский штрих, положенный Амитом в сценарии операции.

О самой операции почти нечего говорить. Старший Редфа, ни-

чего не объясняя членам семьи, предложил им отправиться на несколько дней на север — “на отдых”. Там семью Редфа встретила израильская оперативная группа и с помощью курдских повстанцев переправила через границу, в Ахваз, где их уже ждали деньги, документы и следующая группа. В тот же день Мунир Редфа, поднявшись в свой обычный тренировочный полет, неожиданно для “советников” взял курс на север, через несколько десятков минут пересек границу и вскоре приземлился на секретной американской базе в Турции. После дозаправки на базе он вылетел в сопровождении американских истребителей на юго-восток и над Средиземным морем был встречен израильскими самолетами. Вечером 16 августа 1966 года советский Миг был уже на израильской земле.

Наверно, нужно было бы еще рассказать, что случилось потом с Муниром Редфа, его семейством, а главное — с многомудрым Иосифом из Багдада, но... “тут Шехерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи”. Я только позволю себе добавить, что в одной из книг об израильской разведке с удивлением прочел, что все это, оказывается, было не так. А было, якобы, так: красивая израильтянка — понятно, тайный агент легендарного Мосада — очаровала молодого иракского летчика, соблазнила его — под видом богатой американки — поехать с нею в Париж, а там открыла ему жуткую правду о себе. Оказавшийся в капкане летчик вынужден был согласиться передать свой Миг в израильские руки, что он и сделал, мужественно направившись после взлета со своей базы прямо на восток, через Иорданию, в “сионистское логово”... Я даже снова заглянул на обложку — но нет, фамилия автора была не Джон Ле-Карре.

Когда два года спустя перекрашенный советский Миг возглавил военно-воздушный парад в честь 20-летия Израиля, большинство зрителей, разумеется, понятия не имели, что это за машина. Знали немногие, но они, в основном, отсутствовали — руководители Мосада и Амана редко появлялись на парадах. К тому же у них к тому времени были другие заботы.

(продолжение следует)

Нина Воронель

Марк Азбель

Александр Воронель

### ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

*Двадцать лет назад, в феврале 1966 года, в Москве прошел суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Их обвиняли в том, что они опубликовали на Западе, под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, ряд произведений, которые были квалифицированы как "антисоветские". Процесс Синявского-Даниэля сыграл значительную роль в судьбах советской интеллигенции. Мы предлагаем читателям уникальные воспоминания о деле Синявского-Даниэля, принадлежащие их ближайшим друзьям того времени Александру Воронелю (А. В.), Нине Воронель (Н. В.) и Марку Азбелю (М. А.). Литературные вставки в интервью — Нины Воронель. Выдержки из документов взяты из "Белой книги", в которой Александр Гинзбург собрал материалы процесса.*

Из "Белой книги":

"Враги коммунизма не брезгливы. С каким воодушевлением сервируют они любую сенсацию, подобранную на задворках антисоветчины. Так случилось и некоторое время назад. В буржуазной печати и радио стали появляться сообщения о "необоснованном аресте" в Москве двух "литераторов", печатавших за границей свои антисоветские пасквили. Спрашивается, что же случилось на самом деле? Ответ на это один — враги коммунизма нашли двух отщепенцев, символом веры для которых стали двуличие и бесстыдство. Прикрывшись псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, они в течение нескольких лет тайно переправляли в зарубежные издательства и печатали там грязные пасквили на свою страну, на партию, на советский строй".

Д. Еремин. "Перевертыши". Известия, 13.1 1966

— Статья Еремина была, кажется, первой официальной публикацией об аресте Синявского и Даниэля, не так ли? Она появилась в январе 1966 года. А когда их арестовали?

А. В.: Их арестовали в начале сентября предыдущего года. Сначала Синявского, потом Даниэля.

— Представляется, что этот арест и последовавший за ним процесс были переломным моментом в той эпохе советской истории, которую именуют "60-ми годами". Так ли это?

Н. В.: Точнее, перелом начался процессом Синявского-Даниэля и завершился введением войск в Чехословакию, два с половиной года спустя.

— Я бы хотел спросить: каждый из вас по-своему воспринимает 60-е годы, особенно по контрасту с тем, что последовало за процессом Синявского-Даниэля. Чем были для вас 60-е годы?

А. В.: Что мы будем называть 60-ми годами? То, что было до процесса, или то, что было после? Если то, что было до этого, то я бы сказал, что это был период надежд. У меня было ощущение, что хотя жизнь в общем остается паскудной, но она идет к лучшему. Так что историческое терпение как бы оправдано.

— Это было общее ощущение?

М. А.: Лично я всегда был циником. И 56-й год не произвел никакого перелома в моих представлениях. Я слишком хорошо запомнил, как 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, вокруг меня люди вопили, рыдали и кликушествовали. Мне приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не смеяться. Поэтому и в дальнейшем я наблюдал весь этот театр, хоть и с любопытством, но без особого доверия.

Н. В.: Я могу сказать чуть более развернуто. Если считать 60-ми годами то, что началось в 56-м и кончилось в 65-м, то это было время необычайного расцвета. В том числе и для нас лично. Мы переехали из Харькова в Москву, стали входить в жизнь московской литературной богемы, попали в самый ее водоворот, в самый центр. Казалось, это был сплошной, неостанавливающийся восторг, непрерывное кружение, каждый день приносил что-то новое. Но это личное ощущение подкреплялось внешними обстоятельствами, потому что казалось, что перед нами все время открываются новые двери, снимаются какие-то рамки. Вот я перевожу — и это публикуют, я предлагаю сборник стихов — и его печатают, я пишу пьесу — ее награждают... И то же самое происходило у других. Поэтому было ощущение, что вот завтра все случится, все!

— Сплошной вальс, без всяких перерывов?

Н. В.: Нет, были и черные моменты. Я очень ясно помню: Переделкино, огромная толпа идет за гробом Пастернака, Юлик Даниэль и Андрей Синявский несут гроб, а я иду в толпе где-то в двадцатом ряду, с Ирочкой Емельяновой, дочерью Ольги Ивин-

ской, моей подругой и сокурсницей по Литинституту... Это было в конце июня 1960 года. А когда я вернулась из отпуска, 4 сентября, я узнала, что Иру накануне арестовали. Ее арестовали вместе с Ивинской за то, что им передали деньги, Нобелевскую премию, которую им завещал Пастернак. И Ольга Ивинская получила пять лет, а Ира — два или три — за "пособничество". Так что были предупреждения, что не все так гладко...

А. В.: Иру арестовали буквально накануне ее брака с французским аспирантом-литературоведом Жоржем Нива. Они подали документы в ЗАГС сразу же после смерти Пастернака, им сказали, что нужно подождать еще месяц, и вот, в течение этого месяца, Иру арестовали, а Нива выслали из Союза...

Н. В.: А еще до этого был 58-й год, знаменитое дело с Нобелевской премией Пастернака, и я помню, как у нас, в Литинституте, всех хватало и заставляли подписываться под осуждением Пастернака... А те, кто не хотел подписывать, — отсиживался в туалете.

А. В.: Мне это показалось даже оптимистичным: тот, кто трусил, отсиживался в туалете, но и тем, кто смело сказал: "Не хочу подписывать эту бумажку!" — тоже ничего не было...

— Мне представляется очень интересным, что было как бы два разных восприятия одного и того же времени — оптимистическое и скептическое, о котором говорил Марк. Мне кажется, что сами Синявский и Даниэль, как писатели, появились именно потому, что кроме надежд были и сомнения. Если бы была одна лишь надежда, мы бы имели только Евтушенко. Но даже и скептики, наверно, не могли отрицать, что после 56-го года что-то изменилось, не так ли?

М. А.: Я думаю, что основное изменение состояло в том, что раньше общество представляло собой почти сплошную однородность с редкими вкраплениями того, что мы сегодня назвали бы "инакомыслием". Я не случайно вспомнил 53-й год, когда буквально считанные люди среди моих знакомых не были в отчаянии от смерти Сталина... То, что возникло после 56-го года, я бы назвал "полифонией". Впервые оказалось, что целые общественные группы воспринимают происходящее очень по-разному. Общество как бы достигло, выражаясь физически, некой критической точки. В такой точке флуктуации становятся столь гигантскими, что нельзя говорить об однородности даже в сравнительно малых группах...

— И все это время, 60-е годы, были для вас связаны с именами Синявского и Даниэля? Как это произошло?

Н. В.: Как всегда, причиной всего была я. Меня привел в дом

Даниэлей мой старый харьковский друг, чтобы познакомить с каким-то человеком. Я вошла в этот дом — и я там осталась.

— Надолго?

— На всю жизнь. До отъезда...

*Нина Воронель*

## НАЧАЛО

“Что хуже — убить или украсть?”

Вопрос этот обсуждался в узкой асимметричной комнате, сконструированной из округленных стен различного радиуса, причудливо пересекающихся под разными углами. Сами стены эти, по утверждению хозяев, состояли из прессованных клопов, что подтверждалось неутомимой передислокацией несчетных полчищ клопов живых. “Они время от времени воскресают, а потом опять превращаются в прессованных”, — всерьез поясняли хозяева свое нежелание предпринимать какие бы то ни было шаги к избавлению от насекомых: все равно, мол, не поможет.

Хозяева были веселые и молодые — Господи, как давно это было! — их звали Лара и Юлик Даниэль. Они ничем еще не были знамениты: никому не дано было тогда przewidеть Николая Аржака, героя всемирно известного процесса Синявского-Даниэля, в сутуловатом черноглазом красавце с длинной верхней губой, который яростно отстаивал преимущества воровства перед убийством. Ярость эта не мешала ему, не прерывая спора, проворно бросать пригоршни клопов в открытый чемодан, заполненный блузками и нейлоновыми чулками. И уж конечно никому не дано было przewidеть “мать русской революции” Ларису Богораз в темнолицей растрепанной вакханке, которая прыгала по комнате, ловко сшибая зазевавшихся клопов с потолка и со стен в тот же чемодан. Так они сводили счеты с чрезмерно зажившейся у них провинциальной гостьей, которой чемодан принадлежал.

Такими я увидела Даниэлей, когда впервые переступила порог их беспутного дома. Я вошла туда непрощенная, незванная и ни с кем незнакомая, но никто не удивился: в этот дом все так входили, не ожидая приглашения. Хозяева и гости продолжали спорить, не обращая внимания на мальчика лет четырех, который сидел на горшке в углу и самозабвенно читал “Госпожу Бовари”

Флобера. В особо трогательных местах он плакал беззвучно, не рассчитывая на утешение, — совсем как взрослый.

А взрослые продолжали спорить, мастерски жонглируя всевозможными аспектами воровства и убийства, так что постепенно оба эти деяния обретали некий романтический ореол и уже казалось незачем ни убить, ни украсть. Гости, которые вытаскивали этот диковинный вопрос на обсуждение, были сами столь же диковинны — они были иностранцы, настоящие французы из Парижа. Несмотря на их отличный русский, я опознала их сразу же, хоть не видела до тех пор вживе ни одного иностранца: год шел пятьдесят пятый и створки железного занавеса только-только начали давать трещину, чуть прижатленную по краям. В эту-то трещину и пролезли два иноземных гостя, отличавшихся от нас не столько дубленками и ароматом неведомых нам деодорантов, сколько полным неприятием идеи воровства.

Главным их оппонентом был невзрачный бородач, обладатель косого глаза и неотразимого красноречия. Он возражал кроваво-жадным французам, готовым оправдать убийство, продиктованное высокой страстью, с позиций, поразивших меня тогда не менее, чем сама тема диспута:

— Убить — значит загубить душу. А душа священна, она дана человеку Господом, и человек не смеет ее отнимать. А вот вещи не существенны, они дело рук человеческих, их и стибрить не грех.

Французы слова бородача отмели с налету, ибо, заявили они, не душа священна, а собственность. Но поскольку ни у кого из присутствующих никакой собственности не было, для меня, наивной девочки из провинциального города Харькова, слова его прозвучали музыкой сфер.

— Кто он? — спросила я свою соседку, высокомерную блондинку монашеского вида.

— Мой муж, Андрей Синявский, — гордо ответила блондинка, неприязненно сверкнув на меня выпуклыми линзами очков.

Имя это ничего мне не сказало, ведь мне не дано было тогда провидеть злокозненного нарушителя спокойствия Абрама Терца в этом велеречивом представителе русского народа, утверждавшем его духовную исключительность на основании его артистической склонности к воровству.

И вообще никому ничего не дано было тогда провидеть, время еще не пришло. Была тогда оттепель, время больших надежд

и больших ожиданий, — казалось, что все еще может наладиться и пойти по-хорошему. Еще не написаны были "Суд идет" и "Гололедица", еще не задуманы "Искупление" и "Говорит Москва". Еще не определилось коренное расхождение между советской властью и советской интеллигенцией и советские танки не ворвались в притихшую Прагу.

Все это было еще впереди...

Н. В.: Дом Даниэлей был для меня открытием мира. Мы были тогда совсем зеленые, только что из провинции, тыкались, как слепые котята. И вдруг перед нами открылась дверь в глухой стене, и мы попали в самый центр жизни, на какой-то ослепительный бал. И этот бал не прекращался много лет. Вот чем был для нас дом Даниэлей. Со временем мы вошли во многие другие дома, но все это было потом. А тогда — это было первое приобщение к той самой жизни, о которой все мечтают...

— К сладкой жизни?

Н. В.: К сладкой жизни... Мы приходили туда — бывали такие случаи — скажем, во вторник и уходили только в субботу. Четыре дня подряд! Не ходили на лекции, не ходили на работу... я уже не помню. И не спали. Или спали, не раздеваясь — дремали и просыпались. А какие-то люди входили и выходили. Приносили рукописи, читали стихи. Помню, был такой юноша Женя, мы привели его туда читать стихи. Мы привели его в семь вечера, а в семь утра его мама уже обежала всю Москву — Женя даже забыл ей позвонить, так он был потрясен тем, что ему там открылось. Поистине — открылась бездна, звезд полна! Даниэли были в центре всего этого. Особенно Юлик. Лариса Богораз, его жена, — тоже, но Юлик был более "литературен", что ли...

А. В.: Однако позже, когда они расстались, все это разрушилось. Видимо, они нужны были друг другу...

Н. В.: Верно. Но все-таки эта литературная жизнь вращалась больше вокруг Даниэля. Там часто бывали Синявские...

— Они были знакомы раньше?

Н. В.: Задолго до того. Марья Синявская была знакома с Даниэлем еще прежде, чем вышла замуж за Синявского. Она и познакомила их всех. Там был еще третий друг, Сережа, — Синявский пишет о нем в своем последнем романе "Спокойной ночи". Они дружили троим. Впрочем, Андрей появлялся реже — он уже тогда делал карьеру в литературе... А мы к тому времени стали

почти неразлучны с Даниэлями и Сережей. Они приезжали к нам, мы приезжали к ним, ночевали то тут, то там — это был запой! И в этот запой время от времени вторгался Синявский с очень... ну, скажем, настороженной женой. Она нас вначале невзлюбила, потому что немедленно почувствовала, что мы в этом доме родные. Мы действительно были родные, я уже сказала: если мы уходили, Даниэли приезжали к нам в Менделеево, где у Воронеля была лаборатория.

А. В.: Синявский поначалу казался мне пришедшим из какой-то другой жизни. Он очень интересно обо всем судил. Сразу возникало ощущение совсем другого уровня культуры... Но наша близкая дружба с Синявскими началась действительно гораздо позже, году в 62-м... А до этого мы познакомили Даниэлей с Азбелем.

М. А.: Мы с женой тогда провели все лето 62-го года в Менделеево, на квартире нашего общего приятеля-физика Гитермана, который куда-то в то время уехал. И Воронель мне все уши прожужжал Даниэлем. А познакомились мы с ним где-то в конце июля. И уже через месяц или полтора после знакомства поехали к нему в Москву. Я хорошо запомнил: большая комната, одна стена — сплошной стеллаж, напротив — тахта, на которой спали Юлька с Ларисой, рядом маленькая лежанка, где спала незабвенная собака, которая всегда роняла шерсть... и вся стена в наклейках — там был обычай клеить на стену этикетки всех бутылок, что выпивались в доме... Началось с непрерывного чтения стихов, с конкурса: "Кто написал?" А поскольку я тогда помнил стихи погонными метрами, то уже на следующий день Юлик нам сказал: "Ну, хорошо, тогда я вам прочту что-то другое..." И прочел по рукописи свою повесть "Говорит Москва" — о дне открытых убийств. И добавил, что идею ему подал Сережа... Тогда же он сказал, что это отправлено за границу и будет там печататься. А месяца через два-три он уже показывал нам вышедшую за границей книгу. И тогда же дал нам почитать книжку Синявского, тоже изданную за рубежом.

А. В.: Нам он прочитал свои вещи году в 61-м...

Н. В.: Началось с того, что однажды Юлик стал нам читать "Кота". Этот рассказ он позже так и не напечатал. Это было замечательное произведение, а по молодости лет оно нам показалось даже потрясающим — о секретаре райкома, который перевоплощался в кота и гулял по крышам.

А. В.: А еще какое-то время спустя он нас вызвал и сказал:

“Я хочу вам что-то прочитать...” И прочел “Говорит Москва”. Он тогда был в творческом восторге, и ему хотелось поделиться.

Н. В.: Еще через год он прочел нам “Суд идет”. И сказал, что это вещь Абрама Терца. И когда он читал нам “Суд идет”, Воронель вдруг сказал: “Я знаю, кто это написал. Это написал Синявский...” Юлик был страшно удивлен. Он рассказал Синявскому, и тот нас пригласил к себе. Так у нас началась отдельная дружба с Синявскими...

– Но ведь литераторов в России было много — почему вдруг Синявский?

А. В.: Я не могу сейчас вспомнить, почему я догадался, помню только, что после этого Синявский действительно нас приветил и сам прочитал нам несколько своих вещей. Кроме того, он стал давать нам книги, изданные в Париже: Г. Федотова, С. Булгакова, “Вехи”... мы начали читать громадное количество серьезной литературы...

Н. В.: А кроме того произошло еще одно событие — мы переехали в Хлебный переулок. А Синявские тоже жили в Хлебном, через два дома от нас. Поэтому мы стали к ним забегать по соседству...

– В ту пору по рукам ходило много других вещей — как воспринимались произведения Синявского и Даниэля на этом фоне?

– Н. В.: Не было. Не было других вещей. И не было еще “Самиздата”. Ходили по рукам неопубликованные стихи Пастернака, Мандельштама и Цветаевой, но то явление, что потом получило имя “Самиздат”, еще не родилось.

А. В.: И на этом фоне появление произведений, написанных нашими современниками о нашем времени, как бы переворачивало всю нашу жизнь.

Н. В.: Ведь до того все это никогда не было описано.

А. В.: Меня, например, поразило в “Суд идет”, что там каким-то образом была угадана моя личная история: там ведь описан юношеский кружок марксистов-заговорщиков. Мне-то казалось, что это моя личная тайна, которую никто не мог знать. Я двадцать лет хранил эту тайну.

Н. В.: Тогда это все было для нас откровением, чудом — то, о чем все думают втайне, написано открытым текстом! Впервые свободное слово! Это был первый литературный документ о том, что произошло в России и с Россией.

А. В.: Ведь и Солженицын появился позже, во всяком случае для нас. А все те, которые потом выступили и в "Самиздате", и в "Тамиздате", этих тем коснуться еще не решались.

— И что же — они вот так читали свои вещи друзьям и знакомым, а власти все не догадывались?

А. В.: Нет, в печати уже появлялись какие-то глухие упоминания об Абраме Терце. Но власти еще не знали, кто это...

Из "Белой книги":

"Как-то в зимний день холодные волны Сены выбросили на берег нечто непривлекательное и дурно пахнущее. Нашлись однако добрые люди, которые подобрали это "нечто" и даже набрались решимости выставить его на всеобщее обозрение. Так в журнале "Эспри" появилась статья "О социалистическом реализме"... Редакция сообщила, что статья написана молодым советским писателем, "естественно" сохраняющим в тайне свое имя... Кстати, еще об одном инкогнито. Не только журнал "Эспри" оказался падок на отбросы. В прошлом году в Англии и Франции вышел роман "из советской жизни" под названием "Суд идет". Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. Даже из сочувственного изложения ясно, что перед нами неумная антисоветская фальшивка, рассчитанная на не очень взыскательного читателя... Ратующие против социалистического реализма эстетствующие рыцари "холодной войны" — к какой достоверности, к какой правде тянут они?.."

Б. Рюриков "Иностранная литература", № 1, 1962.

— Рюриков писал это в начале 62-го года. Значит, поиски Терца и Аржака уже тогда были, наверно, в разгаре. А арестовали их в конце 65-го. И все эти годы они продолжали работать, печататься в Союзе — и никто их не выдал?

Н. В.: Наоборот — Твардовский даже помянул Синявского как одного из самых одаренных критиков поколения. И Юлик тоже активно работал. И вообще нам всем казалось, что жизнь на подъеме. Воронеля пригласили в Дубну (в Международный институт ядерных исследований), Азбель тоже переехал в Москву, стал профессором в университете, любимым учеником Ландау, у меня выходили переводы, пьеса получила премию на всесоюзном конкурсе, ее собирались ставить. Это уже потом, после процесса, все покатило под гору: Воронеля из Дубны выперли, мою пьесу сняли, Марку не дали Ленинскую премию. Но первые тревожные звоночки начались, я думаю, уже где-то в конце 63-го года...

А. В.: Да, в декабре, когда Сережа проговорился на вечере у Елены Михайловны Икс.

Н. В.: Там были светские посиделки, и кто-то из гостей сказал, как только что в машине слышал повесть Николая Аржака "Говорит Москва", которую передавала радиостанция "Свобода". И Сережа в этом месте вдруг вскочил и дико закричал: "Да это же сюжет, который я подарил Юлке!"

А. В.: Юлика это поразило. Как он мог при всех такое сказать?! Тогда пролегла первая трещина.

Н. В.: А потом, примерно за год до ареста, от Юлика ушла Лариса. И как-то все сразу изменилось. И сам Юлик. С ним началось что-то невероятное. Он читал свои повести направо и налево, кому угодно, любой случайной женщине... И стало ясно, что уже недалеко до беды. А вскоре грянул арест...

Из "Белой книги":

Газета "Вашингтон пост", США:

"18 октября газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что советский литературный критик и ученый Андрей Синявский арестован за то, что опубликовал за границей труды под псевдонимом Абрам Терц. Если Синявский действительно Терц, Советам нелегко будет "стереть" его имя, так как Синявский — признанный и широко публиковавшийся литературный критик. Главная работа Синявского — это книга объемом в 441 страницу, "Поэзия первых лет революции", написанная вместе с А. Меньшутиным... С 1959 года Синявский часто появляется в качестве обозревателя и эссеиста в ведущем советском либеральном ежемесячнике "Новый мир", где он написал несколько довольно желчных обзоров о казенных работах социалистического реализма. Синявский является также автором (совместно с искусствоведем И. Голомштоком) первого за долгие годы в Советском Союзе серьезного исследования о Пикассо".

Эндрю Фильд "Нью лидер":

"В суматохе, поднятой в прошлом месяце по поводу известия об аресте Андрея Синявского, арест по крайней мере еще одного советского писателя, по сообщениям — примерно в то же самое время, несколько проглядели. Заключен в тюрьму был также Юлий Даниэль, переводчик на русский с других славянских языков, который, как и Синявский, был связан с ИМЛ имени Горького. Даниэля, по-видимому, обвиняют в написании четырех рассказов, которые вышли на Западе под псевдонимом Николай Аржак. Хотя рассказы Аржака не так значительны по величине, да, собственно говоря, и по исполнению, как произведения Терца, политическая направленность произведений Аржака пряма и несомненна. Не может быть сомнения в горячей оппозиции Аржака по отношению к давлению, порождаемому тоталитарным государством. Но, как и в случае с Терцем, заметить в его произведениях только это, было бы грубым и несправедливым упрощением. Аржака интересуют моральные проблемы, вопрос о праве личности на свободу, на верность себе. Ничто так не выражает собственные чувства Аржака, как следующие строчки из "Говорит Москва": "Я верю,

что то, что я написал, могло быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы, который, как и я, любит эту проклятую, эту прекрасную страну”.

— Вы помните день, когда их арестовали?

А. В.: Я этот день помню очень хорошо, потому что меня в тот день арестовали тоже. Я перебирался тогда в Дубну, и поскольку я перебирался с целой лабораторией, у меня была постоянная торговля с начальством. В тот день, 9 сентября, меня как раз вызвал директор дубненского института, в связи с какими-то очередными затруднениями. По выходе из его кабинета меня пригласили зайти в спецотдел. В спецотделе меня встретил человек, который сказал, что он из КГБ и что мне придется отправиться с ним в Москву. Для дачи показаний...

— Сказал, каких показаний?

А. В.: “Каких — это мы вам скажем в Москве”. “Может быть, все-таки здесь?” “Нет, только там — в Москве...” У меня не было в этот момент никаких конкретных предположений, но поскольку я уже с четырнадцати лет был человеком неполной лояльности, то всегда был готов к чему-то подобному. Я только спросил: может быть, я могу поехать на своей машине? Он сказал — нет, так нельзя...

— Может, он так намекал, что обратно ты не поедешь?

А. В.: Нет, он так не сказал, но я сам действительно подумал: может, я уже обратно и не поеду! Поэтому я заявил: “Я должен обязательно зайти домой”. Они сказали: “Прекрасно, мы сейчас отвезем вас домой, только давайте договоримся — вы ничего не говорите своим родным...” Они подвезли меня к дому и деликатно остались в стороне, а я целовался с мамой так долго, что успел ей прошептать на ухо: “Мамочка, меня вызывают в КГБ, сообщи Азбелю...”

Н. В.: Я в то время была в Харькове, у больной матери. Позже нам рассказали московские соседи, что к нам на Хлебный приходил “какой-то майор” и спрашивал меня. Видимо, не найдя меня, они и отправились в Дубну...

А. В.: Допрос, в сущности, начался уже в машине — они спросили, кого мы называли “бородой” и кто в нашем кругу любит петь песню “Абрашка Терц, он жулик всем известный...”

Н. В.: Андрей действительно обожал эту песню...

А. В.: Я понял, что речь идет о Юлике и Андрее. Но они мне

этого не сказали прямо, они лишь игриво так подступали: "Вы, конечно, догадываетесь, почему мы вас вызвали?.."

М. А.: Такой стандартный зачин?

А. В.: Ну, конечно — они надеются, что в этом случае человек скажет больше, чем если его спросить прямо. А формальный допрос начался уже на Лубянке. Мы вошли через внутренний подъезд, поднялись по небольшой лестнице, мой сопровождающий бросил дежурному: "Этот — со мной", — и мы пошли по длинным коридорам, жутко канцелярские такие коридоры, давно не крашенные — в точности, школа какая-нибудь или бюрократическое учреждение... Меня привели в кабинет, довольно бедный, и все началось с того, что сопровождающий сказал: "Минуточку", — и вышел, оставив меня одного...

М. А.: В расчете, что ты будешь волноваться... А они будут подглядывать за тобой через специальное окошечко — когда ты будешь "готов"...

А. В.: Наверно. Но я достал из кармана какую-то книжку и начал увлеченно перелистывать страницы. Я, видимо, так удачно симулировал, что он тут же вбежал обратно, делая вид, что запыхался. И стал задавать вопросы... Тут я должен сказать: то ли мы были очень наивны, то ли такое особое поколение, но у меня не было никакого искушения "расколоться". Мне это просто не приходило в голову. Раз мы договорились с друзьями, что "нет" — значит, "нет". Поэтому что бы он ни спрашивал, я отвечал: не читал, не видел, не знаю... При этом я внимательно смотрел на стол — а на столе лежали копии знакомых рукописей и экземпляры изданных за границей книг Андрея и Юлика. Он тем временем спрашивал: "Что представляют собой ваши друзья Синявский и Даниэль?" Я отвечал: "Мои друзья замечательные люди..."

— Очень любят советскую власть...

А. В.: Нет, я старался не завираться, я не говорил, что они так уж особенно любят советскую власть. Просто утверждал, что они абсолютно лояльны и не интересуются политикой. Что вообще-то было верно — политикой в настоящем смысле они не интересовались. А он все нажимал: "Не имеет смысла записывать, они уже сами признались, на них уже дали показания..."

— А дали?

А. В.: Я. Гарбузенко и Ю. Хазанов в первый же день дали показания на Даниэля. Его еще даже не арестовали тогда — он нахо-

дился в Новосибирске: поехал гуда к Ларисе (которая работала в Академгородке), чтобы наладить отношения... Его там допрашивали пару дней, а потом доставили на самолете в Москву. И Ларису тоже... Гарбузенко был харьковчанин, когда-то он учился вместе с Даниэлями, а потом тоже переехал в Москву и преподавал в школе. В КГБ его очень прижали, сказали, что выбросят с работы. Он испугался и сказал, что — да, он знал, и читал, и, конечно, осуждал. А потом, когда вышел, в ужасе прибежал к нам, созвал всех, кого мог, и сказал: "Братцы, я сознался!" А Хазанов, хотя тоже сознался, никому не рассказал. Он был соавтором Даниэля по переводам, они вместе переводили с кабардино-балкарского. А потом его вызвали на суд — свидетелем обвинения.

Н. В.: Мы все проходили по этому делу, — вот, как бывают родственники жениха и родственники невесты, так мы были родственниками невесты, то есть Юлика, если считать Андрея женихом, как главного участника. А "родственниками жениха" были Голомшток и Меньшутин.

— И как же закончился этот первый допрос?

А. В.: Должен сказать, что это было все-таки сильное переживание для меня. Ведь прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как я побывал в тюрьме, и за это время я привык к воле. В сущности, я до самого конца допроса не был уверен, что выйду из Лубянки. И поэтому, когда меня в конце концов отпустили (это было через несколько часов), у меня было сначала ощущение, будто я... лечу. А потом, почти сразу, появилась мысль, что нужно предупредить Юлика. Я, конечно, понимал, что у них на квартире, вероятно, устроили засаду, так что я лезу в верную петлю, но не попытаться предупредить его я не мог — я бы себе потом этого не простил. Телефона у них тогда не было, мне пришлось туда поехать. Квартира была закрыта. И вот, когда ключ, который у меня был, почему-то не вошел в замок, — вот тогда меня охватил настоящий ужас...

М. А.: К тому времени гебешники уже побывали на квартире Даниэлей. Поэтому замок и не открывался. Но потом, когда Ларису привезли с аэродрома, его уже, видимо, "починили", потому что у нее ключ повернулся совершенно свободно. Это было через два дня. Ларису привезли в Москву вместе с Юликом, но Юлика прямо с самолета повезли на допрос, а ей сказали, что он скоро вернется. И вот мы сидели у них дома и ждали Юльку. Мы ждали до двух, а в два Лара побежала звонить. Ей сказали, что Юлик за-

держивается, но в пять обязательно будет. Потом она позвонила в пять, и ответили: "Сейчас, сейчас..." После этого, где-то в начале шестого, явился милиционер. А Юлик уже не вернулся...

А. В.: Тогда ночью, не застав Юлика, я бросился звонить Неле, в Харьков...

Н. В.: Он позвонил мне среди ночи и сказал: "Ты должна завтра же выехать в Москву!" Я возразила, что только накануне забрала маму из больницы, а он ответил: "Придумай, что угодно, и завтра же возвращайся в Москву"... И объяснил: "Юлик тяжело заболел и лежит в больнице, и Андрей — тоже".

А. В.: Я боялся, что ее вызовут в харьковский КГБ, а Харьков — это не Москва, там руки-ноги поломать могут...

М. А.: Кстати, мое первое соприкосновение с ГБ произошло как раз в Харькове, в 56-м году...

Н. В.: Из-за "Доктора Живаго"?

М. А.: Нет, не из-за "Живаго", а всего-навсего в связи с Буниным. Его вдова подарила моему близкому приятелю книги, изданные за границей, каковые книги находились у меня. Поэтому меня вызвали на допрос. Допрашивали меня с десяти утра до двенадцати ночи. Но самое интересное было, когда я расставался со своим следователем. Он посмотрел на меня и с такой глубокой-глубокой грустью сказал: "Эх, попался бы ты мне лет десять назад — ты бы у меня сознался, что у твоей бабушки яйца были".

— Страшно?

М. А.: Конечно, страшно. Но страшно по единственной причине. Не потому, что бьют, — не били. И даже не потому, что запугивают, говорят, что не выйдешь. Я думаю, прежде всего, потому, что страшно потерять себя.

Н. В.: По делу Даниэля вызвали среди прочих одну девушку, Таню, дочь поэтессы Маргариты Алигер. От нее тоже требовали, чтобы она созналась, что читала... Она не сознавалась. Потом, часа через три, может — четыре, она попросилась в туалет. И тогда они ей сказали, что не выпустят, пока она не сознается. Она плакала, умоляла — ничего не помогло...

— Вызывали многих?

Н. В.: Сначала вызывали, в основном, друзей. Потом, когда Андрей и Юлик сами сознались, друзей перестали вызывать, это уже как бы потеряло смысл. Тогда начали пачками вызывать знакомых женщин, — видимо, собирались сфабриковать большую-

большую аморалку, но потом почему-то передумали — материала не набрали достаточно, что ли. И тогда наступило затишье, до самого суда...

М. А.: И уже перед самым судом вдруг вызвали меня. Если Воронеля вызвали первым, в день ареста, то меня — последним, буквально накануне суда. Я все время ждал вызова. Но вот — прошел сентябрь, прошел октябрь, ноябрь, кончается декабрь, а меня все не вызывают. Уже всех вызвали, а меня не трогают. И я решил, что пронесло. Все-таки я "большой человек", профессор университета, заведомо в институте Ландау — может, они решили, что со мной лучше не связываться? Поэтому, ничего худого не думая, я числа 28-го или 29-го декабря отправился на лекцию. И тут, возле деканата, меня встретил соответствующий товарищ, показал свою "книжечку", сунул, не говоря ни слова, в машину и повез напрямик в Лефортово... Меня доставили в огромный кабинет, где сидели сразу три полковника (они так и представились: "Старший следователь по особым делам полковник такой-то...") — и начался разговор. Совершенно стандартный разговор типа: "Читали?" — "Не читал". — "Знали?" — "Не знал". — "Подпишите!" Меня предупредили об ответственности за дачу ложных показаний и дали подписать протокол. Я подписал, и тогда они спросили, знаю ли я почерк Даниэля. Я сказал, что немного знаю, и тут они предъявили мне рукописные показания Юлика, где черным по белому было сказано, когда, как и почему он мне читал все то, что я, по моим словам, никогда в жизни не видел..!

— В этот момент на твоём лице, надо полагать, отразилась некая гамма эмоций?

М. А.: Никакая гамма на моём лице не отразилась, потому что, хотя я внутренне удивился, но посчитал это несущественным обстоятельством: в конце концов, это дело Даниэля, не мое. Когда он выйдет, мы с ним разберемся, пока же мы четко договорились, что я ничего не читал, — значит, не читал. Поэтому я повторил, что я ничего не знаю.

А. В.: Это был большой риск — так держаться. Голомштоку потом дали полгода только за "отказ от дачи показаний"...

М. А.: Мне они не угрожали. Они только "советовали": "У вас такая замечательная карьера, зачем вам ее портить..." Короче, когда я в очередной раз сказал, что я ничего не знаю и ничего не помню, они мне сказали: "Ну, хорошо. Выйдите, подождите..."

Меня вывели в соседнюю комнату, усадили и оставили одного. У меня тоже, как у Воронеля, нашлась какая-то книжка, но должен сказать честно, что читать я не мог. Я никак не мог понять, в какую игру мы играем... Так я просидел минут, наверно, сорок, потом меня пригласили назад в кабинет, а еще минуты через две туда ввели Юльку! Похудевшего, обросшего, но явно Юльку... Мы бросились друг другу в объятия. Я был первый человек, который его видел с момента ареста. Полковники нас несколько удивленно растащили, после чего началась очная ставка. И Юлька мне говорит: "Я помню, что мы договорились, что ты будешь молчать, но я тебя освобождаю от твоего слова, мне это будет полезно, и я тебя прошу все рассказать..." Вот тут я действительно растерялся, и на моем лице, наверно, отразилась какая-то гамма чувств, потому что я внутренне как-то засуетился: "А может, ему это действительно зачем-то нужно?.."

— И что же дальше?

М. А.: Мне нужно было что-то отвечать, поэтому я по инерции продолжал отвечать, что ничего не помню. Потом я сообразил, что ведь обдумать все я успею со временем, а сейчас лучше всего держаться своей версии. Так продолжалось еще минут сорок, и когда они увидели, что я дальше не сдвинусь, они очную ставку прервали. Юлика увели, а меня оставили... И тогда я уже растерялся по-настоящему, потому что я совершенно не знал, что мне делать. Видно, гебешники — хорошие психологи: они сразу почувствовали эту перемену моего состояния. Во всяком случае, весь ход допроса тут же разительно переменялся. До сих пор шел абсолютно джентльменский разговор, а тут началось грубое, неприкрытое давление: "Вы нам лжете, вы от нас не уйдете, вы нам дадите показания, вы еще не знаете, какие у нас имеются средства..." А я все это терплю, потому что я не знаю, что я скажу в следующую минуту... Но они допустили одну ошибку. Когда они продолжали так на меня нажимать, якобы в Юлькиных интересах, я вдруг подумал: "А что это они так волнуются из-за Юлькиных интересов?" Понять это было невозможно. А я очень не люблю размышлять на ходу, мне для этого нужно время. И я рассудил, что сознаться всегда успею — где бы я ни провел ночь, ясно, что допрос когда-то все-таки кончится, а когда я останусь один, тогда уж я разберусь. А пока — на всякий случай — лучше держаться прежней версии... Я думаю, что в этот момент мое лицо просветлело: ведь

я вдруг обрел почву под ногами, до этого я просто падал свободным падением. И интересно — я еще не успел ничего сказать, но гебешники опять все почувствовали: ход допроса снова переменялся на предельно любезный! И где-то в двенадцатом часу ночи они меня отпустили. Правда, пообещали, что мы с ними еще встретимся, ну, как обычно, — но отпустили. И я стремглав помчался к Ларисе...

— Зачем же они вызывали тебя вообще? И что означало поведение Даниэля?

М. А.: Юлик позднее говорил, когда он уже вышел, что он хотел мне что-то передать на очной ставке. Не знаю — если он и хотел это сделать, то сделал это в такой завуалированной форме, что я ничего не уловил. А гебешники вызывали меня, я думаю, потому, что им очень хотелось запутать меня Юлькиными показаниями и получить добровольного свидетеля обвинения. Это потом иди объясняй, что Даниэль сам меня просил расколоться! А если бы я тогда дал на него показания, это было бы почти общественное осуждение. Ведь они хотели сделать процесс, который интеллигенция приняла бы как оправданный... Хотели поднять против Синявского с Даниэлем общественное мнение.

Из "Белой книги":

"Место двух предателей — на скамье подсудимых!"

Сүлейман Рустам, народный поэт Азербайджана.

"Антисоветские сочинения Синявского и Даниэля, внутренних эмигрантов, а еще прямее говоря, отщепенцев и изменников, вызывают законный гнев нашего советского общества. Они должны быть сурово наказаны".

А. Любмилин, главный режиссер, М. Подобедов, писатель, П. Монастырский, главный режиссер.

"Здесь я вижу делегатов от парторганизаций родной Советской Армии. Как бы они поступили, если бы в каком-либо из подразделений появились предатели?!"

Михаил Шолохов, Нобелевский лауреат.

А. В.: Здесь есть очень важный момент. Мы ощущали тогда, что арест Синявского и Даниэля — это начало чего-то страшного и что мы — все! — можем последовать за ними. Что это — наша судьба. Поэтому мы сопротивлялись...

Н. В.: А тебе не кажется, что у нас было и другое ощущение? Мне запомнилось, что у нас было ощущение, что мы можем остановить этот процесс. Не только не пойти за ними, но даже их самих вытащить...

А. В.: Да, было и это. Мы думали, что если сумеем настоять, сумеем сплотить свою группу — ученых, интеллигентов — то, может быть, это остановит необратимое сползание к сталинизму. Потому что нам казалось, что это возврат к сталинизму.

— Я вижу все то же двойное восприятие 60-х годов: с одной стороны, подспудный страх, глубинное недоверие, с другой — неоправданно большие надежды.

М. А.: Мне это помнится иначе. Никаких особых надежд у меня не было. Но было четкое ощущение (которое оказалось, в общем-то, правильным), что власти сами возврата к Сталину боятся. И что поэтому произошедшая стабилизация положения (когда человека все-таки уже не хватают просто так) — всерьез и надолго. Это было время, когда Сахаров был еще не диссидент, а “наш великий ученый”, и Солженицын — “наш великий писатель”, когда Сахаров, Капица, Петровский, Леонтович послали коллективное письмо в ЦК, предостерегая от возврата к сталинизму...

А. В.: Уланова тоже подписала...

М. А.: И Уланова, и Вишневская, и Ростропович... Иными словами, весы колебались. Было четкое ощущение, что если эту элиту, с которой наверху считаются, сдвинуть чуточку сильнее, то стабилизация произойдет не на существующем уровне (хотя он все равно гораздо выше сталинского) — а на еще более высоком...

— Момент минутного равновесия? Может быть, в этом смысл и значение процесса Синявского-Даниэля?

А. В.: Я вспоминаю, как по какому-то делу пришел к академику Леонтовичу, и он мне сказал: “Саша, я хочу вам сказать очень важную вещь, — мне звонили из канцелярии Брежнева и благодарили за наше письмо...” Тогда еще за письма не били, а благодарили.

М. А.: Поскольку эта разница уровней не была столь уж безумно велика, равновесие просто могло остановиться на более высоком. А то, что потом все пошло катиться, как снежный ком, — это уже грех интеллигенции. Я хорошо помню, что общее мнение людей из научной элиты, с которыми я тогда разговаривал, сводилось к тому, что арестовывать, конечно, нехорошо, но все же Синявский и Даниэль — предатели, потому что критиковать надо изнутри, не выносить сор из избы. Уже потом, в ходе процесса, они стали сдвигаться к мысли, что вообще-то печататься за границей, может, и можно, но что явно не годится — это выступать в защиту арестованных, писать коллективные письма и прочее.

А уже после процесса они все, как один, подписали письмо против ареста Есенина-Вольпина. Но это было намного позже!

А. В.: В действительности, пик их активности наступил через год, во время суда над Галансковым и Гинзбургом...

М. А.: Совершенно верно! Но это случилось потом! А у меня было ощущение, что если бы они что-нибудь подобное предприняли, когда шел процесс Синявского-Даниэля, то хотя систему и нельзя было изменить, но остановить весы на другом уровне было возможно. Мы уговаривали их тогда подписать письма протеста, и я помню, как один крупный ученый сказал: "Вы поступаете аморально. Вы ставите людей в трудное положение. Если человек хочет, он сам напишет, не надо его к этому принуждать..."

А. В.: Да, я помню: "Вы оказываете на людей очень тяжелое моральное давление..."

М. А.: Это то, что они тогда говорили. Потом это ушло — но было уже поздно...

Н. В.: В литературной интеллигенции, среди которой я тогда крутилась, мнения после ареста Синявского и Даниэля резко разделились. Самые молодые, как мы, бросились на защиту. Но это были в основном просто близкие друзья, и их было очень немного. А главная масса самой что ни на есть "прогрессивной" интеллигенции пришла в состояние чудовищной паники. Был 65-й год. От 52-го всех отделяло очень короткое расстояние: все еще помнили, как было тогда... Поэтому страх был ужасный. Ведь действительно — казалось, это было время почти свободы, затишья. Ну, Хрущев кричал Э. Неизвестному: "Педераст!" — но ведь он его не арестовал! А тут вдруг — арест. Все были в оцепенении. И второе! Каждый из них — я не хочу называть имен, это люди, которые потом проявили себя достойно и письма подписывали, только игра уже была проиграна — каждый из них тогда, поначалу, кричал: "Подлецы! Негодяи! Они нам все испортили! Ведь мы уже почти всего добились, завтра была бы уже настоящая оттепель, а они нас продали, теперь все зарубят!..."

А. В.: Они кричали: "Мы подвели под советскую власть такой глубокий подкоп! Мы Кафку пробили, перевод! Что может быть страшнее для советской власти?" Одна переводчица все тыкала нам под нос какую-то фразу из своего перевода и кричала: "Видите, какую фразу я написала?!" Как она кричала!..

Н. В.: "Из-за этого дерьма нам все закроют! Мы сейчас открыли все двери, завтра бы все хлынуло, у нас бы стала настоящая

свобода... а эти гады... написали это дерьмо... выставиться хотели... кому это нужно? Все погубили, все достижения советской интеллигенции пошли прахом!"

А. В.: Многих обижало даже и то, что Синявский и Даниэль были недостаточно, на их вкус, антисоветские писатели. Их обижало, что они как бы выхватили у этих, более антисоветских, пальму первенства. Один поэт, он сейчас в эмиграции, кричал, как резаный: "Что я буду за них заступаться? Они даже против советской власти не сумели сказать, как следует! Уж пишут за границу, так сказали бы все начистоту... Я, вот, поэму против Сталина написал... но не напечатал... потому что мы все шли единым фронтом, мы "их" уже почти свалили, а Синявский с Даниэлем, суки, нас продали!"

Н. В.: Я бы сказала так: советская либеральная интеллигенция, взявшись за ручки, шла мелким демократическим зигзагом на штурм тоталитарной системы. И ей казалось, что завтра она победит, и в России настанет свобода слова. А эти "гады", Синявский и Даниэль, в свободу слова не верили, в общем штурме не участвовали, а туннельным эффектом вылезли за границу и напечатались. И теперь советская власть под этим предлогом может закрыть всю лавочку. Пожалуй, в чем-то и они были правы, но, к сожалению, первое, на что они ополчились при критических обстоятельствах, было не то, что их пугало и мучило, то есть жесткий цензурный режим, а те "мерзавцы", которые вызвали на себя огонь властей...

М. А.: Но очень многие из этих людей поступали так, а не иначе, не потому, что были глупы или корыстолюбивы...

Н. В.: Нет, они думали, что действительно побеждают.

А. В.: А о многих мы просто не знали... Вот, например, произошел такой анекдот. Я сидел в кабинете М. Леонтовича, а Марк в это время был у академика В. Гинзбурга, с тем, чтобы уговорить его подписать письмо в защиту наших друзей. И вот Леонтович, который подписал, говорит мне: "А не зайти ли вам еще и на два этажа ниже — к академику Сахарову? Знаете, этот человек — "черный ящик"... А вдруг он возьмет и подпишет? Он странный, у него бывают всякие идеи... Вы знаете — он может подписать!" И как раз тут Марк звонит мне от Гинзбурга и говорит, что тот подписывать отказывается. Я под мрачным впечатлением этого сообщения отвечаю Леонтовичу: "Знаете, освободите меня

от еще одного унижительного разговора. Ну его к черту, этот "черный ящик"! И — не пошел!

М. А.: Вот это, я думаю, очень показательно. Потому что тут все неоднозначно... Тот же Гинзбург, который не подписал наше письмо, в свое время женился на женщине, которую вытащил из лагеря, когда это не очень-то поощрялось. И потом сделал много хороших дел. И он считал, что ему важнее сохранить свои возможности, влияние в Академии, чем подписать письмо в защиту Синявского...

А. В.: Значит, он все же допускал мысль, что он эти возможности потеряет, если подпишет? А он потерял их, возможно, потому, что, как и многие, не подписал такое письмо своевременно, когда чаши весов еще колебались. И игра была проиграна. Спустя два года он уже хотел выразить Синявскому и Даниэлю свое сочувствие и даже как-то рассказал за обедом, как трогательно мы их защищали, но он, вот, не смог нас поддержать. А у меня именно после этого его рассказа начались неприятности, потому что участвовавший в обеде замдиректора моего института поспешил угадать будущее развитие событий и начал от меня "освобождаться"...

Из "Белой книги":

"Председателю Совета Министров СССР...

Не только я, но и еще сотни людей обеспокоены судьбой арестованных в сентябре писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которым предъявляется обвинение в том, что они печатались за рубежом под псевдонимами Терц и Аржак... В тридцать седьмом, сорок девятом и даже в шестьдесят первом годах сажали и не за такое. Но я люблю свою страну и не хочу, чтобы очередные непроконтролированные действия КГБ легли пятном на ее репутацию. Я люблю русскую литературу и не хочу, чтобы еще два ее представителя отправились под конвоем валить лес..."

А. Гинзбург, редактор журнала "Синтаксис".

"Уважаемая редакция. Статья Дм. Еремина, напечатанная в вашей газете, вызывает горечь и недоумение... Здесь та же лексика и фразеология, которую помнят все и по 37-му, и по 46-му, 49-му, и по 1953 годам. Еремин считает произведения Терца и Аржака антисоветскими и патриотическими. Их авторы объявлены врагами нашего строя... Я утверждаю, что произведения Аржака и Терца продиктованы любовью к своей стране и ее народу... острым переживанием тех неблагоприятных, которые и сейчас мешают нам жить..."

В. И. Левин, кандидат физико-математических наук.

"В Президиум Верховного Совета.

В "Известиях" и "Литературной газете" были опубликованы статьи

Д. Еремина и З. Кедрин о причинах привлечения к судебной ответственности А. Синявского и Ю. Даниэля.. Я не знакома с литераторами, находящимися под следствием, не читала их сочинений.. но я не могу не выразить решительного несогласия с безответственными и бестактными попытками вмешаться в нормальный ход судебного процесса и психологически дезориентировать тех, кому доверено его вести”.

И. Роднянская, член Союза писателей СССР.

“В юридическую консультацию Бауманского района.

Познакомившись в последнее время с сочинениями Абрама Терца, на основании которых обвиняется А. Синявский, я утверждаю, что в них не содержится ничего, что могло бы дать повод для уголовного преследования..”

Кандидат филологических наук В. В. Иванов.

“В Московский городской суд

. Действия произведений Синявского и Даниэля происходят в годы, когда во главе партии и правительства стоял Сталин... Ненависть к культу личности во имя подлинных революционных идеалов полностью опровергает доказательства вины А. Синявского и Ю. Даниэля... Ущерб, причиненный культом личности и его последствиями, значительно превышает ущерб, якобы нанесенный публикацией произведений этих авторов за рубежом”.

В. Д. Меникер, младший научный сотрудник Института экономики АН СССР.

“В Верховный суд РСФСР.

Я тщательно изучил все напечатанные за рубежом произведения под псевдонимом “Абрам Терц”... и пришел к твердому убеждению, что арест Синявского и предстоящий суд над ним есть плод трагического недоразумения, в котором повинны как неверное понимание характера этих произведений, так и злой умысел отдельных лиц...”

И. Голомшток, член Союза художников СССР.

“В Московский городской суд

...Я призываю суд прислушаться к голосу совести, к голосу справедливости и голосам зарубежных друзей Советского Союза, выступающих сейчас в защиту Синявского и Даниэля. Я призываю суд подумать о международном престиже нашей страны. Я призываю суд оправдать Синявского и Даниэля”

Анатолий Якобсон, поэт-переводчик.

Протест Генерального секретаря международного Пен-клуба... Открытое письмо писателей Австралии... Телеграмма деятелей датской культуры... Письмо английских писателей.. Телеграмма деятелей индийской культуры... Письмо ассоциации шведских студентов... Письмо американских писателей... Письмо японских писателей... Телеграмма деятелей итальянской культуры... Открытое письмо латиноамериканских писателей в защиту Синявского и Даниэля .

— Я хочу вернуться немного назад. Вот, пока вы собирали подписи, организовывали кампанию протеста, уже добрались до Леонтовича и еще не добрались до Сахарова... сами эти люди, из-за которых поднялся весь этот шум, Синявский и Даниэль — где были бы они, если бы не сидели на скамье подсудимых, в каком из лагерей?

Н. В.: В ходе процесса Синявского-Даниэля впервые произошел раскол советской интеллигенции на активных — и отстранившихся. Я думаю, будь герои процесса тогда на свободе, они тоже повели бы себя по-разному. Даниэль, скорее всего, был бы в первых рядах "диссидентов". А вот Синявский, наверно, избрал бы иной путь. Между ними была большая разница...

А. В.: Синявский всегда принципиально стоял в стороне от всяких общественных дел. Он ощущал свое призвание и свою самооценку. Даниэль был по-человечески проще и ближе, — Синявский был... значительней. Даже ведущим советским критикам и литераторам льстило знакомство с ним. Даниэль был един — и как наш друг, Юлик Даниэль, и как писатель, скрывшийся за псевдонимом Николай Аржак. Синявский же был действительно двойствен. Был ведущий советский литературовед Андрей Синявский — и был потаенный, издевающийся писатель Абрам Терц. В Синявском жил скрытый игрок, которому нравилось, что он водит за нос советскую власть, которая никак не может его поймать. Вообще, эта власть создала совершенно уникальный тип отношений с людьми искусства. Все крупнейшие русские писатели того времени — Синявский, Зиновьев, Солженицын — были какой-то частью своего существа сращены с советской властью: они обманывали ее, высмеивали ее или "бодались" с нею. В этом смысле замечательная статья Синявского "Что такое социалистический реализм" все еще остается недооцененной. Ведь в ней — не только насмешка, но и хвалебный гимн власти, которая ценит искусство, слово, выше жизни и реальности.

Н. В.: Мне трудно так разложить этих людей по полочкам. У меня с ними связана половина жизни. Но верно, что Даниэля никто никогда не обвинял в двоедушии. Он выглядел изнутри так же, как и снаружи. Юлий Даниэль, с его общественным лицом, с его божественной жизнью, нисколько не расходился с Николаем Аржаком. Удар для многих представителей официальной литературы состоял в том, что Синявский-то был "свой". Казался своим. А в писаниях оказался чужим... А Даниэль как слыл диссидентом, так диссидентом и оказался.

М. А.: У меня создалось совершенно иное впечатление. Мне Синявский кажется как раз более цельным и естественным. И вот почему. Для Синявского всякая общественная деятельность, борьба с советской властью всегда были несущественными. Единственное, что его на самом деле интересовало, — это творчество. И он был именно един — в том, что писал официально талантливые вещи, и в том, что не мог опубликовать всего, что написал. Вот этого он не мог пережить. Не в силу общественного темперамента, а в силу как раз своей цельности. И это внутреннее давление сделало из него диссидента. И героя поневоле. Он не хотел, ему пришлось... Тогда как Даниэль, который был от него в абсолютном восторге, попал в его фарватер... Для Синявского это была внутренняя потребность, а для Даниэля — что-то вроде общественной деятельности.

Н. В.: Но Синявский сам о себе пишет, что он диссидент по природе.

М. А.: Человек, для которого творчество является смыслом жизни, не может не быть диссидентом, ибо такова суть творчества.

— Когда вы логически анализируете Синявского и Даниэля, все получается очень складно. Но когда обращаешься к книгам Синявского, то ясно видишь, что он все-таки "бес" И в игре Терца с советской властью был не только бунт художника, но и наслаждение самой игрой ..

А. В.: Конечно. Ощущение — как я их обманул!

— Они понимали значение того, что делали?

Н. В.: Андрей понимал, а Даниэль, я думаю, нет. Даниэль, как артистическая натура, был увлечен процессом. А Андрей был трезвее. И опасность понимал лучше. Даниэль вообще всегда был парень лихой и беспечный, жил от руки ко рту, не заботясь о завтрашнем дне. А у Синявского дело было, помимо могучего творческого импульса, разумеется, в его социальном лице: ведь он очень успешно тогда делал карьеру ведущего советского критика, чего, скорей всего, сам себе не мог простить. Вот он себя тем и утешал, что, делая карьеру, показывал властям при этом кукиш. Это очень в его характере, в этом он весь — бес лукавый. Ну, а кроме того, у него в руках был ключ к проблеме — его особые отношения с Элен Замойской, дочерью французского дипломата, то есть прямой и надежный выход в мир иной, на Запад. Никому тогда еще в голову это не приходило, а у него был верный канал, и он знал, для чего он пишет, — он писал, чтобы напечататься.

А. В.: Я помню — за год до ареста — Лариса ушла от Юлика. И с ним произошло что-то ужасное. Он как будто с рельс сошел. И всем, кто проходил через его дом, чигал свои заграничные вещи. Как только я об этом узнал, я поехал — помню, была темная ночь — к Синявским на дачу, вызвал его и говорю: “Андрей, Юлик спивается, он всем подряд читает, он вас обоих провалит...”

— Он не только свое читал?

Н. В.: Только свое, конечно, но им достаточно было нащупать хотя бы одного. Они ведь до этого искали совсем в другой стороне — среди известных писателей...

А. В.: Я сказал: “Послушай, вы оба попадетесь...” А Синявский так на меня посмотрел и ответил: “Ну, что ж. значит, такая судьба. А жаль — хорошо было задумано...” Вот тут он сказался весь: “Так было здорово задумано, — сказал. — Нужно было мне оставаться одному...”

— Вот вы сказали, что Терца и Аржака искали среди больших писателей. И ведь были подходящие большие писатели. Позже, лет примерно через десять, они заговорили в Самиздате, очень многие из них. Но почему именно эти двое, Синявский и Даниэль, были первыми?

А. В.: Все это было не случайно. Синявский, в отличие от многих из нас, — человек с корнями, он никогда не забывал о своем дворянском происхождении, всегда подчеркивал, что у него есть наследие. Он принадлежит к тому слою коренных русских интеллигентов, которые серьезно думают о судьбах своей страны. Конечно, это не значит, что на нас, евреев, он смотрел свысока — наоборот, за нами он полагал наследие еще более древнее, и этим еще тогда провоцировал нас — во всяком случае, меня — на сионизм. Потому что в его лице я, будучи еще очень молодым, впервые встретил человека глубокой — и укорененной — культуры. И понял, что у меня есть культурная перспектива только в том случае, если и я четко осознаю свои корни. То есть, свое еврейство. Кстати, о бесах. Точнее, о “Бесах”. В Синявском было нечто от героя Достоевского — от Ставрогина. Он выдвинул множество идей, которые потом расхватили другие люди. Например, многое из того, что потом приписывалось П. Палиевскому, идеологу современного русского национализма, я слышал от Синявского еще в начале 60-х. Своим сионизмом, как я уже говорил, я тоже в какой-то степени обязан ему. Его русская культура была гораздо выше нашей. Что ни говори, наша культура была нахвтанной. Наша культура была культурой разночинцев, способных

все принять и все отвергнуть на основе чисто рациональных критериев, без всякой оглядки на традицию. Да мы, ведь, и традицию могли себе выбирать по произволу, не помня родства. Именно он показал мне, что культура может быть подлинной, только если она глубоко укоренена. И происхождение свое и веру не выбирают. Он был филосемит, я не ощущал в нем никаких признаков антисемитизма, и тем не менее он ясно давал почувствовать, что еврей может существовать в культуре только в том случае, если он твердо ощущает себя евреем. Русским с ним я быть не мог. Но в нем есть и ставрогинская ненадежность. Способность играть идеями, которые небезобидны. Способность играть людьми, их чувствами и убеждениями.

Н. В.: Можно мне кое-что добавить? Чисто художественный пассаж, без всяких доказательств? Для меня образ Синявского сильно изменился с тех пор, как он выехал на Запад. В нем произошло некое характерное изменение. В России Синявский был, во-первых, русским националистом, во-вторых, человеком религиозным. Это было в среде, в которой большинство еще недалеко ушло от марксизма и лучшие люди были либералы. Андрей тогда регулярно ходил в церковь, и нам казалось странным, что он ходит туда заодно с ветхими старухами. Сам крестился и сына крестил, что вовсе еще не было принято тогда в его среде... И вот, однажды, мы ехали с ним в машине к детскому врачу: что-то такое подозревали у их сына, и они просили меня свезти их к моему знакомому врачу. И всю дорогу в машине они оба, Андрей и Марья, произносили всякие речи против цивилизации. Это меня так разозлило, что я сказала: "Что вы так воюете против цивилизации, если вы ею все время пользуетесь? Вот вы холодильником пользуетесь..." Холодильник в нашей среде тогда еще был роскошью. Тогда Андрей сказал: "Можем выбросить..." А я дальше: "И зачем вам врач? Если ты так веруешь в Бога — помолись Богу, зачем тебе врач?" И тогда Андрей задумчиво так произнес: "А что, это мысль..." Но тут Марья безумно испугалась, что он действительно сейчас откажется, безумно — она так страшно закричала... Я тогда ему говорю: "Хорошо, оставим это, но, вот, ты верующий, ты веруешь в Бога, ты с ним общаешься. Зачем тебе для этого ходить в церковь, стоять на коленях, бить поклоны?" А он мне с такой юродивостью в голосе: "Это что же — весь русский православный народ, он с Богом в церкви общается, а я, Андрей Донатович Синявский — такой аристократ — я дома с ним общаться

буду? Нет уж — я, как весь русский народ, в церковь пойду!..”

И вот Синявский теперь в Париже. И видит, что там все русские — националисты и все в церковь ходят. И тогда он идет наперекор. Он теперь уже — не русский националист, а либерал. Он уже со всеми в церковь не ходит. Потому что, когда все вокруг были либералы, интернационалисты — он у нас был националист, славянофил и верующий. А когда вокруг все славянофилы, и националисты, и православные, — тогда Синявский выходит из общих рядов и опять оказывается вовне. Потому что он может быть только один! Это — его главная черта. Поэтому он и стал Абрамом Терцем. Все шли в одну сторону — а он взял и пошел в другую!

М. А.: У меня другое представление. Мне кажется, что мы всякий раз пытаемся найти глубокий смысл в явлении, в достаточной степени случайном. Я с трудом себе представляю, что если бы у Андрея не появился прямой канал на Запад, он стал бы его искать и буквально прыгать под арест. Мне кажется, произошло иное. Человек творческий, человек пишущий, человек, для которого смысл жизни состоял в творчестве, вдруг обнаружил, что у него есть возможность публиковаться. К тому же, я думаю, он четко представлял себе, что все, что он делает в Союзе, — это не настоящее. А возможность, которая ему предоставилась, сама по себе была исключительной. И этого великого соблазна, этой возможности он отвергнуть не мог. Я думаю, что он понял: если не сейчас, то никогда. Что же касается Даниэля, то мне он представлялся человеком, не реализовавшим своих потенций. Все время будучи центром, душой общества, он воспринимался этим обществом... ну, что такое, в самом деле, переводчик с кабардино-балкарского?! Во всяком случае, из разговоров с ним, у меня возникло четкое ощущение его неудовлетворенности собой. И у меня было впечатление, что ему было важно доказать себе и другим, что он писатель... Не то, чтобы он не сознавал опасности... но ему было важнее другое. И вот вы рассказываете, как он пошел читать свои вещи направо и налево... А я думаю, что он просто не мог упустить своего звездного часа — он хотел на весь мир крикнуть, что он — писатель!

— Но почему ты так подчеркиваешь роль случайности в выходе за границу?

М. А.: Случайность тут только в том, кто именно ею восполь-

зовался. Тех, кто мог бы ею воспользоваться, было много. И у меня впечатление, что не только истинно достойные ухватываются за нее. Вот что я, в сущности, хочу сказать. Безусловно, процесс Синявского-Даниэля — одна из кардинальных вех в истории России последнего времени. И, безусловно, сами они люди талантливые. Но история любит шутить. Я думаю, что кто-то другой тоже мог бы воспользоваться этой возможностью. Но на каком-то изломе истории появились именно эти двое. А в дальнейшем Даниэль остался в России, а Синявский выехал на Запад. Я думаю, что в действительности это был как раз характерный случай звездного часа — но ни они сами, ни их современники этого не поняли. Не поняли, что этот процесс был как раз тем событием, ради которого они оба пришли в историю России.

— Я чувствую, что Воронель уже накопил достаточно возражений...

А. В.: Конечно! Я уверен, что Синявский останется в истории литературы, независимо от этого процесса.

М. А.: Я говорю не о литературе, а об истории развития России. Об Истории с большой буквы.

А. В.: Я как раз это и имел в виду. Синявский остался в русской литературе, а потому и в русской истории, уникальной альтернативой. Я не могу согласиться с утверждением, будто он занял место кого-то другого, быть может даже, более талантливого. Потому что он сам создал свое место. Он оказался тем единственным и необходимым ироническим писателем, отщепенцем, Абрамом Терцем, который обозначил собой альтернативу всей общественно zaangażированной литературе, которая потом возникла и возобладавала. Он никогда не сеял разумное, доброе, вечное... Если в политическом смысле сегодняшнее соперничество Абрама Терца с Солженицыным кажется мне нелепым, то в литературном смысле оно, по-моему, оправдано. Это две совершенно разные линии литературы, два разных типа творчества, два разных отношения к действительности. Эта разница не имеет отношения к разнице талантов. Солженицын зачеркнул всю советскую действительность и свою утопию строит, опираясь на это отрицание. Он политически и эстетически враждебен всему, что произошло в стране за последние 70 лет, и хочет как бы начать сначала. Синявский, напротив, принял всю современность, как фантасмагорическую реальность, от участия в которой он не устранился и хочет эстетически освоить, обжить это,

порожденное бессознательным творчеством Истории, чудовище. Он всегда говорил, я помню, что искусство выше жизни. "И, если даже, — говорил он, — русская культура действительно умерла, мы будем продолжать жить в ее трупе; потому что она — русская культура — единственная действительность, которая у нас есть..." И про Солженицына он говорил: "Он — писатель великий, а я писатель небольшой... Великий писатель может себе позволить и плохо писать, а я обязан писать хорошо, поэтому я тружусь над каждым словом". Это воистину некая противоположность, другой полюс литературы. Поэтому я бы не сказал, что он пережил свой звездный час. Он свое уникальное место сохранил. И у него еще будут последователи. Если не сейчас, то позже, неизбежно...

И Даниэль, я думаю, тоже отлично все понимал, и звезда его в России не погасла. Он — натура артистическая, нуждающаяся в сочувственной среде. Он любит Россию не как идею или культуру, а как реальность, данную ему в ощущениях. Он правильно отказался от эмиграции. Он любит свою переводческую работу, а работа над переводами Байрона, с какой точки зрения ни подходить, — немалая задача. Глобальных же литературных задач он себе никогда не ставил. Честолюбие его не было уязвлено, и неудовлетворенность, о которой Марк говорит, если и имела место, то относилась, скорее, к тому отчаянному психологическому состоянию, в котором он находился накануне ареста, чем к его человеческой природе.

Н. В.: Марк говорит, что в какой-то мере и для Синявского вся эта история была случайностью... И вроде верно — как можно было предвидеть такой поворот? Но я хочу сказать — Синявский всю жизнь был авантюристом. Он, например, затеял роман с дочерью Сталина... Марья не зря ему всегда говорила: "Андрей, твоя любовь к русской истории до добра тебя не доведет!.."

М. А.: Светлана его вспоминает в своей книге с безумной нежностью... Что правда, то правда.

А. В.: Нина права — в нем всегда был авантюризм, литературно-фантастическое стремление, то есть стремление превратить жизнь в литературу, а литературные тропы — в жизненные события. Его встреча с Э. Замойской — тоже ведь не случайность. Замойская — человек, необыкновенный во многих отношениях: польская княжна и француженка одновременно, католичка и специалистка по русской литературе. Она не могла его не привлечь. И, на-

конец, еще одно. Я думаю, что из двух тысяч членов Союза писателей у многих могли быть знакомые иностранцы. Но никому больше тогда не пришло в голову передавать через них рукописи за границу. Один Синявский такое придумал! Такое не может быть случайностью...

Н. В.: Синявский однажды обронил примечательную фразу: "Жизнь — это овеществленная метафора". Его собственная жизнь и есть овеществленная метафора. Художественный образ был для него всегда важнее жизни. Вот он и создал себе образ — Абрама Терца, перевертыша, крошки Цореса.

— В русской литературе этот соблазн был всегда — чуть не с Пушкина. Синявский не случайно с Пушкина начал, со "своего" Пушкина, Гоголем и Розановым продолжил — у них у всех был соблазн такого выверта. И в их последних словах на суде, Синявского и Даниэля, я тоже вижу всю разницу их позиций и темпераментов .

Из "Белой книги":

"Мне будет довольно трудно говорить, так как я не рассчитывал, что сегодня будет последнее слово... Но еще труднее — в силу определенной атмосферы, которая здесь достаточно ощутима... Все те же самые страшные цитаты из обвинительного заключения повторяются десятки раз.. создается какая-то пелена.. когда кончается реальность и начинается чудовищное — почти по произведению Аржака и Терца. Тут действительно, очень страшно и неожиданно, художественный образ теряет условность, воспринимается буквально, так что судебная процедура подключается к тексту, как его естественное продолжение.. Я хочу напомнить. слово — это не дело, а слово, художественный образ условен, автор не идентичен герою.. к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками".

Из последнего слова А. Синявского.

"В последнем слове моего товарища Синявского прозвучало безнадежное сознание невозможности пробиться сквозь глухую стену непонимания и нежелания слушать. Я настроен не так пессимистически. . Мы виноваты — не в том, что мы написали, а в том, что отправили за границу свои произведения. В наших книгах много политических бестактностей, перефразов, оскорблений. Но 12 лет жизни Синявского и 8 лет жизни Даниэля — не слишком ли это дорогая цена за легкомыслие, за непредусмотрительность, за просчет? Как мы оба говорили на предварительном следствии и здесь, мы оба глубоко сожалеем, что наши произведения использовали во вред реакционные силы, что тем самым мы причинили зло, нанесли ущерб нашей стране. Мы этого не хотели. У нас не было злого умысла, и я прошу суд это учесть. Я хочу еще сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам — Синявскому и мне — чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ".

Из последнего слова Ю. Даниэля.

— Итак, вы бросились их защищать. Не потому, что Синявский был альтернативой в русской литературе, я понимаю, а просто потому, что арестовали ваших друзей, так?

М. А.: Я помню, что когда окончательно стало понятно, что Даниэль арестован, Лариса пришла в такое возбужденное состояние, что была просто одержима жадой что-то делать — и немедленно. И где-то тут родилась эта наша идея кампании общественного протеста. Я только не помню, сразу ли она оформилась...

Н. В.: По-моему, с самого начала. Когда я на второй день приехала из Харькова, мы все, помню, собрались у Лины Чаплиной, там был еще и Моше Гитерман (он тоже сейчас в Израиле) — и все обсуждали, что предпринять. Не — как спрятаться и переждать, а — что делать. И мы побежали к разным "передовым". "либеральным" писателям и академикам — поднимать их на защиту Синявского и Даниэля.

М. А.: О себе я точно знаю, что единственной причиной, по которой я в это ввязался, было сознание, что друзей не предадут. Я действительно сказал, что весы колебались. Но меньше всего на свете мне хотелось участвовать в их колебаниях. Если бы Синявский и Даниэль не были моими друзьями, я несомненно остался бы в стороне. Но дальше сказался закон, который мне представляется довольно общим. Уже ввязавшись в какое-то дело, ты делаешь его адекватно самому себе. Поэтому, уже ввязавшись, мне хотелось качнуть эти весы туда, куда нужно. И поэтому поневоле, вынужденным образом, я пытался влиять на очень большое число людей в эту сторону. И кое на кого удалось повлиять достаточно сильно.

— Выходит, это была одна из первых, если не первая в русской общественной истории послесталинского периода попытка организации широкого общественного протеста?

М. А.: Я думаю, ты прав — это был, по-моему, первый в тогдашней России организованный протест, и самое смешное — что это делалось — с моей, по крайней мере, стороны — людьми, которые ни за что бы не ввязались в это дело, если бы не их друзья.

А. В.: Нет, первой, кажется, была поддержка Иосифа Бродского — Фридой Вигдоровой и другими писателями в Ленинграде.

М. А.: Я хочу объяснить, что тут смешное. Чем больше я наблюдаю историю, тем больше мне кажется, что она, как правило, делается героями поневоле. И тут важны оба слова: и героями, и поневоле... Конечно, есть различия — например, между Воронелем и мною. Воронель имеет общественный темперамент,

поэтому в ходе защиты Юльки и Андрея он в каком-то смысле еще и сам о реализовывался. Но в целом оказалось, что судьба дала нам возможность сделать — поневоле — нечто необычное. Мы тоже пережили свой звездный час...

Н. В.: Нет, я думаю, наш звездный час наступил позже — когда мы уезжали из Союза. Это случилось только через много лет.

А. В.: У меня, конечно, есть общественный темперамент, но в течение предшествующих двадцати лет он спокойно оставался без применения. В человеческих поступках действительно нет такой однозначности, какую можно было бы предполагать. Предположение о моем темпераменте основывалось, в частности, на том, что еще в свои четырнадцать лет я умудрился попасть в лагерь за лидерство в юношеской подпольной организации, и с тех пор всегда был как бы диссидент и потенциальный мятежник. Однако последующие двадцать лет я вел жизнь абсолютно добропорядочного ученого. Восемнадцать лет подряд я почти не выходил из своей лаборатории, и мне даже не приходило в голову сменить место работы. Я уехал в Израиль из того же института, в который пришел молодым начинающим аспирантом. Я тоже влез в дело Синявского-Даниэля по дружбе, только поэтому... Но уже оказавшись в революционной ситуации, естественно, внутренне как-то с нею согласился. Однако, не настолько согласился, чтобы остаться в русле движения, которое в результате возникло... Как ни скверно устроена жизнь в СССР, я не собирался посвящать себя борьбе с ней. Поэтому, хотя во время процесса я по отношению к группе друзей выполнял почти диктаторские функции, настоящим лидером я не только не был, но в какой-то степени отрицал общественный аспект этой борьбы. Я помню, что в самом начале я говорил Ларисе: "Ведь мы не хотим стать профессиональными революционерами, и Юлик и Андрей не для протеста печатались, а потому что это — литература! Ведь нас же не интересует политическая ситуация в целом. Нам нужно только спасти ребят!.." И хотя мне казалось тогда, что в нашем кругу мы почти все так думаем, казалось даже, что иначе и думать невозможно, эти споры были жутко напряженными. Потому что те, кто думал иначе, еще не мог этого сформулировать и, хотя формально соглашался, внутренне уже настраивался иначе. Я не сразу понял этот раскол, как политическое расхождение, и приписывал его личным счетам, характерам, темпераментам...

Так, во время процесса у меня было столкновение с Наташей С.

В здание суда публику не пускали, но я каждый раз, правдами и неправдами, туда проникал. И вот, однажды, уже стоя за пикетом, я увидел, что Наташа тоже рвется в здание, а милиционеры ее не пускают. И вдруг она падает, задирает ноги, начинает драться с милиционерами и кричать: "Сашка, помоги мне, Сашка!"... Я должен сказать, что это нелегко — видеть, как женщина дерется с мужиками, и остаться в стороне. Но я повернулся и ушел. Если бы я бросился ей помогать, меня бы, конечно, не впустили обратно, а я считал, что я там нужен для настоящего дела...

— То есть, ты хочешь сказать, что она думала не о деле, а о себе?

А. В.: Нет, не о себе! Когда мы встретились вечером, она спросила: "Почему же ты не поддержал мой протест?" Я поинтересовался: "А в чем состоял твой протест?" Она сказала: "Ну, как же, ты пойми, иностранные корреспонденты сфотографировали, как меня насилуют милиционеры. Это же замечательно!" Я помню, что мне это тогда не показалось замечательным, и я долго сердился на нее. Но по трезвом размышлении, теперь, должен признать, что у нее просто была другая цель, чем у меня. И другое "дело". Я хотел добиться смягчения участи для моих друзей и для этого готов был не только на легальные действия, но и на нелегальные (но только, если они ведут к этой цели). Она же хотела выразить свой протест, который в случае благоприятного (для меня) развития событий остался бы незамеченным. Юлика же и Андрея она рассматривала как единомышленников, которые хотели того же, что и она, и уже пострадали за это. Так что расхождения с будущим демократическим движением у меня начались в самом зародыше...

— Но ведь позже ты все-таки пошел к Сахарову — и вовсе не из-за своих друзей. .

А. В.: То был совсем другой этап моей деятельности. Это произошло через шесть с половиной лет, когда Сахаров был главой Комитета защиты прав человека, а я чувствовал себя, на этот раз действительно, лидером, облеченным ответственностью за "свою группу" — еврейскую. Это — совсем другая роль. Да я бы, пожалуй, и выделил Правозащитное движение из общего потока Демократического движения. Это лишь потом, когда всех его участников пересажали (или выпустили за границу), стало возможно отождествлять узкую Сахаровскую группу со всем движением. Я бы сказал даже, что в первые годы Демократического движения Сахаров вовсе не был популярной фигурой среди демокра-

тов. А потом я ходил к нему не только потому, что считал это своим долгом, но и потому, что он сам мне понравился... Они оба — Андрей Дмитриевич и Люся Боннэр — люди, которых трудно не полюбить.

Н. В.: Марк тоже потом ходил. Но он ходил по необходимости. Он всегда был лидером поневоле, а Воронель — по призванию...

М. А.: Мне кажется, что когда Воронель начинает говорить о внутренних пружинах, то при всей разнице в наших темпераментах он говорит буквально то же, что мог бы сказать я. Но штука в том, что с точки зрения происходящих событий это зачастую неразлично. То, что ты делаешь, и то, почему ты это делаешь, — как говорят, две большие разницы, но внешне это порой неразлично. В еврейском движении Воронель был лидером по призванию, а я — поневоле. Но при этом я тоже вынужден был делать такие вещи, которые по доброй воле никогда бы не стал делать. А как иначе? И вот тогда, на очной ставке, — в гробу я видал все эти танцы на канате! А куда деваться?!

— Мне кажется, что ты все время пытаешься провести, так сказать, рационалистическую точку зрения

М. А.: Наоборот! С точностью до наоборот! Я считаю, что даже лидеры являются случайными. Как раз моя мысль состоит в том, что роль конкретной личности в истории столь велика, что страшно даже подумать об этом. Она гораздо существенней, чем человек сам может вообразить — потому что иначе, если это человек честный, он от ужаса перед этой ответственностью бежал бы в кусты. Роль в действительности гигантская, а люди, которым дана эта роль, — случайные... Зачастую герои поневоле. Как Моисей... Он же не хотел! Он же упирался изо всех сил! И тем не менее создал целый народ. Поэтому, я думаю, что кошмар истории, истинный кошмар, в том-то и состоит, что, оказывается, — ее делают люди, менее всего этого желающие или для этого подходящие...

— А ваши усилия поднять движение общественного протеста много времени у вас занимали?

Н. В.: На эту борьбу уходило все время, полный рабочий день с доведением. Все перестали работать и только этим и занимались.

А. В.: Азбель тогда сказал, что если перевести в деньги все рабочее время, которое советская интеллигенция потратила на процесс Синявского-Даниэля, то дешевле было бы запустить еще одну космическую программу.

— А ваши карьеры? Вас сразу же начали теснить?

А. В.: Поначалу — во всяком случае, внешне — никаких неприятностей не было. А потом... я сам сказал своим нанимателям в Дубне, что освобождаю их от обязательств по отношению ко мне. Они этим отпущением воспользовались... Я думаю, что вопреки нашим ожиданиям, информация из КГБ не поступала. Большая часть неприятностей проистекла от нашей же либеральной и полулиберальной интеллигенции, которая сама себя информировала и сама себя пугала. Вроде академика Гинзбурга. Кто не захотел, тот не испугался...

М. А.: У меня была целая история. Она тоже убедила меня, что чаши весов еще качались. Как раз в то время меня выдвинули на Ленинскую премию. Тогда было два тура, и результаты каждого печатались в газетах. Первый тур я прошел еще до вызова в КГБ и суда. После этого был второй тур, и там я тоже прошел. Решение принимало отделение физматнаук Академии, и это решение фактически было окончательным — его выносили на пленум Академии и там автоматически утверждали. И вот накануне заседания пленума, поздно вечером, на стол к Келдышу легло частное письмо-донос, в котором подробно освещались мои связи с Синявским и Даниэлем. Келдыш, не успевая ничего согласовать с верхами и не решаясь взять на себя ответственность, предложил пленуму отложить голосование, поскольку-де "выяснились дополнительные обстоятельства", — и "естественно" утвердить тех, кто были вторыми кандидатами. Это и показало мне, что весы еще колебались — я мог преспокойно проскочить. На следующий год меня отвели уже до первого тура. Весы окончательно установились...

Н. В.: Марк говорит, что весы качались, а я думаю, что просто информация от КГБ не поступала на поверхность..

М. А.: Вот именно: весы не установились в том смысле, что гебешники еще ничего не выпускали на поверхность. И нас они еще не преследовали.

Н. В.: Я думаю, гебешники еще не знали тогда своей силы. Они потом Воронеля спрашивали: "Ну, скажите, разве мы вели себя, как в сталинские времена?"

М. А.: Поэтому-то я и считаю, что процесс Синявского-Даниэля определил качание весов. Это был первый и последний процесс, где гебешники еще не знали своей силы и на всякий случай ничего не выдавали на поверхность...

## ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМНАТА

Наша комната в Хлебном переулке, 19, внешне была непримечательна ничем, кроме уродства и географического положения: через четыре дома направо в номере 9 жили Синявские, за одним углом находился ЦДЛ — Дом литераторов, за другим ЦДК — Дом кино, в двух кварталах налево по улице Воровского — Верховный суд РСФСР, где заседал судья Л. Смирнов, в двух кварталах направо — зал суда, где проходил процесс.

И потому неудивительно, что эта комната превратилась в дни процесса в штаб организованного сопротивления советской интеллигенции, невзирая на яростное возмущение трех законопослушных соседских семей, которые настолько дружно сплотились против нас, что даже временно прекратили военные действия друг против друга.

Всю неделю процесса каждое утро в восемь пятнадцать утра Лариса и Марья приходили к нам позавтракать и обсудить программу предстоящего дня сражений. Без четверти девять мы убегали — кто сидеть в зале суда, кто пробираться в его коридоры, кто — стоять на морозе под дверью, демонстрируя властям свое с ними несогласие. В комнате мы оставляли связного, готового долгие часы сидеть в одиночестве и отвечать на бесчисленные телефонные звонки, тем более что соседи, раздраженные непрерывным трезвоном, демонстративно перестали подходить к телефону. Чаще всего это делал один из наших многочисленных друзей-ученых, который был настолько толст, что ему было невыносимо многочасовое стояние под дверью суда. Услышав звонок телефона, висящего в дальнем конце длинного коридора, он, сломя голову, по-слоновьи топал к нему, сбивая по пути соседей, всегда, как нарочно, идущих навстречу — кто с кипящим чайником, кто с раскаленной сковородой.

Наших отношений с соседями это не улучшало, но мы давно уже махнули на это рукой. И потому без зазрения совести по вечерам впускали к себе всех желающих послушать отчет Ларисы о прошедшем заседании суда. Мы впускали всех: это было важно и для гласности, и для отвода глаз, так как главную нашу задачу — протокольную запись процесса — мы выполняли в другом месте. Желавших было много: приходили друзья, сочувствующие

щие и, разумеется, стукачи. Так что комната наша каждый вечер заполнялась до отказа: наиболее удачливые сидели на стульях, на полу и на подоконнике, остальные стояли, прислонясь к стенам и к дверному косяку.

Я не стала бы так подробно описывать эту уродливую комнату в Хлебном переулке, 19, узкую и длинную, как пенал, если бы не прочла недавно детальное описание ее в книге Берберовой "Железная женщина", посвященной знаменитой Муре Будберг, жене М. Горького и возлюбленной английского посла-заговорщика Д. Локкарта. Конечно, я, как и все, проходила в школе историю "заговора Локкарта", пытавшегося вместе с ассом шпионского искусства Сиднеем Райли совершить антисоветский переворот в голодной Москве 1918 года. Но мне и в самом фантастическом сне не могло присниться, что Локкарт снимал для своей миссии квартиру на последнем этаже угрюмого дома 19 в Хлебном переулке.

Я смутно могла представить себе резиденцию английского посла: этакий уютный особняк в одном из Арбатских переулков, с псевдогреческим портиком, через застекленную дверь которого с бронзовым молоточком вместо звонка проскальзывал к Локкарту неуловимый Сидней Райли, чтобы обсудить последние детали исторического заговора. Но чтобы в моей квартире!

Берберова приводит цитату из книги коменданта Кремля, руководившего арестом Локкарта, где тот пространно рассказывает, как Мура долго препиралась с ним через закрытую дверь, — Господи, сколько раз я отпирала эту дверь почти полвека спустя! Ворвавшись, наконец, в квартиру, чекисты протопали по длинному коридору, по которому полвека спустя наш толстый друг бегал к телефону, и открыли дверь моей комнаты, служившей в те давние времена спальней Локкарту, а точнее ему и Муре. Локкарт спал на тахте у окна, мы тоже там спали, так как это было единственное место, пригодное для тахты — впрочем, у нас тахта была другая, мы не получили ее по наследству вместе с комнатой.

Дверь напротив тахты вела в посольский кабинет, большую квадратную комнату с двумя окнами. В наше время бывший посольский кабинет занимала рабочая семья из шести человек, сокровенные подробности из жизни которой не могла утаить от нас тонкая прослойка оклеенной обоями двери, так же как не могла она утаить от них наших крамольных разговоров.

Как бы порадовался любитель российской истории Абрам Терц-Синявский, знай он, что история эта по его милости второй раз проходила через нашу комнату!

— Как же выглядел сам процесс?

А. В.: Мы не знали, чего можно ожидать от властей. И с одной стороны, мы допускали даже, что наших друзей могут расстрелять. Мы ведь помнили недавние сталинские времена. А с другой стороны, нам казалось не исключенным, что их как-нибудь символически осудят, но на волю выпустят, потому что уже несколько лет не было серьезных политических преследований. Особенно в случае международной огласки. Поэтому мы сначала старались сделать все возможное, чтобы приостановить суд или смягчить возможный приговор. Мы писали заявления в судебные инстанции, вызываясь быть свидетелями защиты (покойный Толя Якобсон и я), мы ходили на прием к Верховному судье Смирнову (Э. Любошиц, И. Голомшток, В. Кишилов и я), мы требовали выпустить их на поруки, готовили материал для адвокатов и т. п. и т. д.

Но когда уже стало ясно, что суда не миновать, мы решили по крайней мере зафиксировать протоколы процесса, — мы уже начинали предвосхищать его историческое значение. Я хочу напомнить, что в СССР процессы такого рода идут за закрытой дверью, публику на них не допускают. Мы начали с того, что несколько раз ходили в Верховный суд, требовали, чтобы нас впустили, в чем нам было, конечно, отказано — только женам разрешили присутствовать.

Н. В.: Воронель набивался в свидетели защиты — подал заявление, заполнил анкеты, а в назначенный день даже сходил в парикмахерскую и надел белую заграничную рубашечку с плеча Синявского — собственной такой шикарной у него не было, хоть уже и был профессором физики. Но даже это не помогло: в последнюю минуту ему отказали, ибо суд в свидетелях защиты не нуждался, он довольствовался свидетелями обвинения.

А. В.: Когда мы поняли, что никакого легального пути к гласности у нас нет, мы решили запротоколировать процесс. Мы купили десятки записных книжек и снабжали ими Ларису Даниэль. На каждое очередное заседание она входила в зал суда с одной книжкой, записывала все, что успевала, а в перерыве заходила в женский туалет, где ее уже поджидал кто-нибудь из нас — Азбель, я или профессор Любошиц (который сейчас живет в Иерусалиме).

М. А.: Проникнуть в здание суда было очень непросто, но кто-нибудь из нас каждый раз ухитрялся это сделать.

А. В.: Там, в туалете, мы обменивались с Ларисой книжечками — она отдавала исписанную и получала чистую. Выйти из здания суда она не могла: ее бы не пустили обратно, а взять с собой стопку записных книжек было опасно, могли бы забрать, равно как и книжку с записями — потому мы и спешили эту книжку поскорей вынести из здания суда. Лариса работала, как машина — она все записала, все мельчайшие подробности.

В перерыве мы водили ее на обед — она работала с невероятной нагрузкой, это была потрясающая работа! Лариса поистине — человек невероятной силы характера... Потом, вечером, она приходила к нам домой и там уже все рассказывала. У нее было такое эмоциональное состояние, что она все время хотела рассказывать о процессе, а десятки людей жаждали ее слушать, но наш узкий кружок знал, что ее рассказ одновременно выполняет другую функцию. Она и сама не знала, что рассказывает для отвода глаз. Дело в том, что мы знали, что наша квартира прослушивается КГБ: техники, которые устанавливали магнитофоны в потолке, не очень-то скрывались. Поэтому мы сосредоточивали все внимание КГБ на нашей квартире, а Неля в это время уходила с Ларкиными записными книжками из дому и всю ночь расшифровывала их в чужой квартире...

Н. В.: Лара не знала стенографии и поэтому писала сокращенно: "ск." вместо "сказал", "св. вл." вместо "советская власть" и т. д., поскольку нужно было успеть записать, пока говорят. Она записала каждое слово, но все — сокращенно. Охрана видела, что она что-то записывала, но почему-то не остановила ее. Не догадывались, что ли? В первый день записывал еще один человек — наш ленинградский друг — Борис Вахтин, который получил доступ на процесс от Союза писателей. Но уже на второй день он уехал обратно в Ленинград. Он тоже был замечательный писатель, который до сих пор неизвестен публике, но он считал, что за границу посылать печататься — неправильно. Нужно добиваться этого внутри, в СССР. Он умер, к сожалению, так и не став известным читателю в СССР — тому, ради которого он совершил это литературное самоубийство. Его этот процесс потряс. Он говорил нам потом, что с трудом удерживался в зале от замечаний, за которые его бы вывели... Интересно, что почти накануне ареста мы приносили Синявскому повесть Б. Вахтина в рукописи, и Андрей

страшно им восхищался... А теперь Борис сидел среди публики, состоявшей, в основном, из сотрудников КГБ и встречавшей взрывами веселого хохота всякое унижение писателей, попавших на скамью подсудимых только за свою профессиональную работу. Ту самую, ради которой и он был бы готов сесть на эту скамью...

А. В.: Это была адская работа — с утра до вечера. А у Нели — с вечера до утра...

Н. В.: Перепечатывать не было никакой возможности, писать приходилось рукой, у меня потом долго болело плечо и пальцы не гнулись — ведь целые ночи приходилось писать... Вообще-то делать это было страшно — никто ведь не знал, как за это могут наказать, прецедента еще не было, все было в первый раз. В результате этой работы была создана черновая рукопись протокола заседаний процесса, составившая главную часть знаменитой "Белой Книги", за публикацию которой, в сущности, Александр Гинзбург потом отсидел пять лет. Тут большую роль сыграла Марья Синявская, — именно она вдохновила А. Гинзбурга на это дело и передала готовую к печати рукопись за границу.

А. В.: В интересах истины я должен поправить: А. Гинзбург вместе с Галансковым получил свои пять лет за создание самиздатского литературного журнала "Феникс". Преследования и жестокий приговор, конечно, были связаны с составлением им "Белой Книги", но обстановка за границей, а отчасти и внутри СССР, была такова, что власти не решались прямо поставить ему в вину публикацию достоверных фактов.

Н. В.: А потом наступил день вынесения приговора. Я помню — его вынесли очень поздно вечером, мы стояли толпой у подъезда суда; вернее, было две толпы: друзей — и гебешников в одинаковых зимних шапках, которые им выдали по случаю мороза. А мороз был ужасный, — и кто-то плакал: пять и семь лет лагерей. А я не могла поверить: Боже, какое счастье, их не расстреляли!

А. В.: К тому времени мы уже ощутили наше "Мы", то есть, что мы — группа: к суду приходили десятки людей, часто незнакомых ни с кем. Сразу после процесса начал стремительно меняться состав друзей. Из узкой кучки родилось движение, которое потом получило имя Демократического. Оно состояло уже не только из друзей, даже не столько из друзей, сколько из друзей по борьбе, так сказать — соратников. У старых друзей это вызывало даже иногда горькое чувство заброшенности...

Н. В.: Ко времени процесса и после в широких интеллигентских кругах уже произошла переоценка взглядов. Теперь Синявского и Даниэля никто уже не ругал. Ими восхищались.

М. А.: Советская власть ухитрилась с помощью процесса полностью их реабилитировать. И сплотить всю интеллигенцию.

— Много появилось новых людей?

А. В.: Очень много. Так много, что когда через два с половиной года мы собрались в опустевшей квартире Даниэлей (Лариса уже тоже была выслана в Сибирь — за то, что организовала на Красной площади в августе 1968-го демонстрацию протеста против вторжения в Чехословакию) — собрались отметить день рождения Юлика, то вдруг почувствовали себя потерянными в огромной толпе малознакомых людей, для которых Юлик был не живым человеком, а условным символом, даже идиолом. Я помню, как Тошка Якобсон позвал: "Братцы, старые друзья, пошли на кухню, помянем попросту Юльку! А то, я вижу, здесь уже собрался съезд Демократического движения..." На кухне он вдруг поднял рюмку и провозгласил: "В следующем году — в Иерусалиме!" Я так и ахнул: "Как, Тошка, и ты тоже?!" А он ответил: "А вы что, Тошку за дурака держали?"...

— Значит, в 68-м году на именины пришло уже "Демократическое движение", другие люди?

А. В.: Не все эти "другие люди" были новыми для нас. Скажем, Б. Шрагин, Н. Горбаневская, А. Есенин-Вольпин бывали там и раньше, но П. Литвинов, П. Григоренко, Великановы, Л. Алексеева, И. Белгородская появились только после процесса, как друзья и соратники Ларисы. Процесс и наш тесный дружеский круг навязали Ларисе не вполне ей соответствующую роль "верной подружки" Даниэля, и она отдала этой роли много сил. Она сделала больше, чем могла бы сделать любая другая женщина для своего бывшего мужа. Однако эта неестественная роль тяготила ее, а рамки, в которые старые друзья хотели бы ее запереть, были ей слишком узки. После процесса она стремилась вырваться и вырвалась — на простор демократической деятельности, куда не все друзья готовы были за ней следовать. Она сама превратилась в лидера и завела новых друзей, которые соответствовали этой ее новой жизни. Но это не обошлось без ссор, драматических скандалов, взаимных обид. Так как Марья Синявская тогда исполняла именно эту скромную роль преданной, на все готовой для своего мужа женщины, ссора и раскол пролегли

именно между ними. Два человека с разных сторон — И. Голомшток и я — долгое время пытались сгладить фундаментальное противоречие между двумя группами. Но мы оба пытались также согласовывать наши личные позиции с нашей совестью. Друзья Ларисы, увлекшись своей общественной ролью, несправедливо и жестоко поступали с Марьей. Я и сейчас не могу понять, как они могли тогда, в ее положении, подвергнуть ее незаслуженному остракизму. Этот случай был для меня последней каплей, заставившей меня отойти от всей группы.

Пока речь шла о защите наших друзей, у нас всех без исключения, даже если кто-нибудь и увлекался своей ролью, не было сомнения, что тут — дело чистое. А позже меня не оставляло ощущение, что мы очень близко подходим к какой-то бесовщине, и я все время чувствовал себя не в своей тарелке. Это чувство особенно укрепилось, когда мне довелось встретиться с П. Якиром и В. Красиным. Это произошло на тех же традиционных именинах Юлика годом раньше вышеописанного случая. Мрачный, хмуро-озабоченный Красин с карикатурно громадным портфелем и полупьяный (всегда полупьяный, когда не пьяный), похожий на борова, наглый Якир вызвали у меня не только желание самому избежать любых контактов с ними, но и отвадить сына Даниэля — Саню — от общения с этими персонажами Достоевского. Я проводил целые часы, убеждая Саню, что ничего серьезного не содержится в разглагольствованиях этих пустозвонов и что мальчику в 17 лет лучше заняться чем-нибудь другим. Но кто из 17-летних когда-нибудь внимал таким речам? Как странно, что в политике людей часто оставляет здравый смысл! И с людьми, с которыми вы не стали бы пить водку или даже сидеть за одним столом, вы готовы часто разделять политическую ответственность... Поэтому и сейчас, когда большинство из той группы находится в эмиграции, для меня важно, не кто из них какой идеологии придерживается, а попросту — кто какой человек. Но Саня тогда не был готов к такой прозе...

Н. В.: Я бы сказала так, что Воронелем подсознательно уже руководила мысль, что это не его дела. При всем его фокстерьерстве и готовности во всем участвовать, Ларкины дела начали его отталкивать. И от этого расхождения между его общественным темпераментом, с одной стороны, и нежеланием участвовать в русском демократическом движении, с другой, он впал в ужасную депрессию. Может, он чувствовал, что это безнадежное дело,

а может -- ощущал, что ему тут не место, не знаю, он этого не формулировал. Он сформулировал это только к моменту написания книги. Сначала он просто сходил с ума, буквально. И вот, наконец, понял. Где-то году в 69-м он сел писать свою книгу "Трепет забот иудейских". И задача книги была — показать самому себе, что нам с ними не по пути. Россия — не то место, где мы, евреи, должны прилагать свои силы...

— Марк, а что произошло с тобой?

М. А.: Когда процесс кончился, я прежде всего облегченно вздохнул, надеясь, что больше уже не придется... И, конечно, ошибался. Вскоре начались наши еврейские дела... Для меня вся эта история была прежде всего большим жизненным опытом. опытом дружбы и опытом жизни. Было замечательно, что мне не пришлось разочароваться ни в ком из моих друзей. И еще — появился опыт нахождения в эпицентре общественной борьбы. Знание, кем и как она делается, какие мотивы руководят людьми. Как и Воронелю, мне было ужасно неприятно это паразитирование на Даниэле и Синявском, это стремление оказаться в самом свете рампы. Но я понял, что даже в таком деле руководят людьми прежде всего личные чувства, а не идеи. Например, только очень сильное личное чувство могло толкнуть людей на такой героический шаг, как выход на Красную площадь в 1968 году. С другой стороны, я думаю, что это был один из тех моментов в истории России, которые навсегда в этой истории останутся. И то же я видел в ходе дела Синявского-Даниэля. Для меня все это дело было поразительным уроком делания истории. И потом, когда нам еще больше повезло, и мы оказались в эпицентре еврейского движения, я все время благодарил судьбу за то, что она дала мне такую возможность — побывать в эпицентре бури, увидеть всех, увидеть все и при этом остаться целым...

— Вы вспомнили о выходе на Красную площадь. И о том, что Ларисы уже не было на тех знаменательных именинах.

А. В.: Верно, дом уже опустел. Остался только одинокий мальчик Саня, которого соблазнял Якир и который не мог учиться посреди этих бурь...

Н. В.: Это трудно оценить... Вот ты говоришь: "одинокий мальчик..." Действительно, был такой замечательный мальчик с прозрачными глазами, который просил Воронеля. "Дядя Саша, составьте мне, пожалуйста, список вопросов, которые наука еще не решила, чтобы я знал, о чем мне думать." И его втянула эта

общественная воронка, не давшая ему ни доучиться, ни осознать себя самостоятельным, отдельным человеком, выбирающим свой собственный путь. А с другой стороны — все говорят: какая ужасная страна Россия, все молчат, никто не протестует, болото какое-то! И если нашлись люди, которые вышли протестовать против оккупации Чехословакии, в защиту свободы — ведь они сделали честь этой стране! По крайней мере, не так за нее стыдно! В этом был жест необыкновенный! И он прозвучал на весь мир. Жаль, что Саня не решил всех вопросов науки, но ведь не из-за пьянки или по лени, а из-за благородного дела!

Поэтому я бы сказала: люди — это одно, а история — совсем другое... Я помню, когда сразу после ареста Андрея и Юлика была демонстрация у памятника Пушкину, первая в Союзе демонстрация, и подъехали воронки и всех стали туда бросать, одна знакомая сказала: "Боже! Как бы я уважала этих людей — если бы я их так хорошо не знала!" Но ведь они это уважение заслужили! А ее "знание" — это деталь ее биографии...

М. А.: Я думаю, что если сознание России сегодня изменилось в сравнении с тем, что было в 65-м году (не говоря уже о 50-м!), то, в конечном счете, оно изменилось благодаря этому процессу, "демократам", Сахарову, всем другим... Говорят, что диссиденты — крохотная кучка. Диссиденты — да, но они изменили сознание миллионов. Того, что мы помним от сталинских времен, уже не осталось. Партийных вождей сегодня не оплакивают, над ними смеются. Молодежь стала, по крайней мере, циничной...

— Выходит, процесс Синявского-Даниэля был для интеллигенции первой школой протеста, который из конкретного быстро перерос в общий протест, в Демократическое движение? А еще через два-три года началась оппозиция среди тех евреев, которые..?

А. В.: Это не совсем так. И там были евреи, и тут были евреи. Замечательную фразу сказал тогда Э. Мандель (Наум Коржавин): "Я возмущен, что в Демократическом движении восемьдесят пять процентов евреев! Процент должен быть справедливый: фифти-фифти!"

Дело было не в том, кто был еврей, а кто — нет, а в том, кто хотел и надеялся эту страну улучшить, а кто готов был начать новую жизнь. Тот самый Толя Якобсон, который провозгласил: "В следующем году — в Иерусалиме!" — был тогда главным идеологом Демократического движения и формулировал, что оно направлено не на политические, а на нравственные цели и

должно вести к взаимному повышению чувства ответственности у властей и у народа в СССР. Свой сионистский лозунг он произнес с вызовом и никуда ехать не собирался. Но политическая реальность громадной страны диктует свои законы поведения и свое понимание идеологий и целей, отличное от намерений основателей. В этом и состояло расхождение. Толя Якобсон думал так, а я — иначе, но спустя несколько лет мы действительно встретились в Иерусалиме...

Н. В.: За годы, что Юлик с Андреем сидели, действительно произошло столько событий! И, когда они вышли, мир был уже таким другим!.. Я особенно запомнила, как мы встретились с Юлькой — ведь мы его получили прямо из Владимирской тюрьмы, еще тепленького... Мы ему рассказывали, а он все потрясался: "Быть такого не может!" За те пять лет, что он сидел, все проблемы его времени отошли черт знает куда и возникло столько новых, что он только ушами хлопал, никак не мог поверить. А Синявский вышел еще через полтора года, к тому времени мы уже были в подаче... Главное, что Юлика потрясло — что мы все время говорим: "Евреи, евреи, евреи..." А он говорил: "Какие евреи, какие евреи?" Когда его арестовали, вообще не было никаких "евреев", это было ругательное слово.

— Я хотел бы закончить на лирической ноте. Прошло двадцать лет. Что делают сегодня герои этих воспоминаний?

Н. В.: Ничего хорошего сказать нельзя. Все постарели. 20 лет есть 20 лет...

М. А.: У меня ощущение, что переезд в Израиль поставил перед нами новую сверхзадачу...

А. В.: Да, он как бы дал нам новую жизнь. Может, и Андрей в этом смысле что-то приобрел...

— А Лариса?

Н. В.: Лариса стала великим человеком. Она действительно "мать русской революции".

А. В.: Все мы выросли за эти двадцать лет, но также страшно много потеряли. И теперь, оглядываясь назад, я не испытываю ностальгического чувства по отношению к России, к месту. Но моя ностальгия относится к тому времени, когда еще были надежды, к тому дружескому кругу, который еще не знал партийных разногласий, к той светлой уверенности в своей правоте, которая может возникнуть действительно только в трагических обстоятельствах.

— Интересная получилась расстановка: герои процесса оказались вне движений, ими же порожденных, а все их защитники...

М. А.: Ну, защитники ведь и создавали движения. А герои — нет, они не были людьми движения, особенно Синявский. Движение пошло от них, но не ими...

Н. В.: Кто-то сказал, что масштаб личности определяется тем завихрением пространства, которое она вокруг себя создает. Я хочу сказать, что Синявский и Даниэль создали вокруг себя такое потрясающее завихрение пространства, которое на много лет отразилось в истории России, а может — и мира. И в наших личных судьбах. Как оценивать? Но завихрение-то было, и оно многих-многих втянуло...

— Благодарю вас всех.

*Вел интервью Р. Нудельман.*

## **КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА**

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ**

**"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"**

Книга известного ученого и публициста из двух частей. Первая часть представляет собой аутентичный самиздатский материал о возрождении еврейского национального сознания в России, вторая часть рассказывает о встрече с политической действительностью современного Израиля.

300 стр.

16 долларов

## РУССКИЙ ВОПРОС

*Надзиратель: Это закоренелый догматик. Необходимо заткнуть ему рот: еще секунда, и он скажет, что в нашей стране существуют классы.*

*(А. Амальрик.*

*"Восток—Запад")*

Возможно, за шесть израильских лет я успел оторваться от советской действительности. И все-таки, вспоминая былой жизненный опыт, я, на вопрос: "Какую сегодняшнюю книгу прочтут в Союзе с наибольшим интересом?" — не колеблясь, отвечаю: "Номенклатуру" М. Восленского" (Изд-во "ОПИ", Лондон, 1985). Прочтут, по-моему, все, начиная с генсека ЦК и до работяги, если он интересуется чем-то, кроме стакана на троих.

До появления в печати на языке оригинала, эту книгу издали на двенадцати языках, плюс на венгерском — в тамошнем Самиздате. Для социологического исследования, написанного российским эмигрантом, успех — фантастичен. Что касается российской публики, то И. Бирман в "Гранях" (№ 137) припоминает позабытое слово "нетленка" и констатирует, что "книга жадно схвачена там и всколыхнула публику здесь". Когда я дал почитать "Номенклатуру" израильской приятельнице, то сумел получить ее обратно лишь

*Михаил Хейфец*

### АПОЛОГИЯ МАРКСИЗМА

(к обсуждению "Номенклатуры" М. Восленского в русскоязычной печати)

через несколько месяцев, причем новенький экземпляр вернулся ко мне затрепанным: книгу читали по кругу!

Но одновременно, вежливо признавая ее достоинства (а иной раз и без этого расшаркивания), произведение М. Восленского по зернышку исклевали критики — в "Форуме", в "Гранях", в "22". Что же послужило причиной явного разрыва в оценках между восторженной публикой и профессиональными ценителями?

Ответ на этот вопрос и составляет задачу данной статьи.

\* \* \*

Большой победой большевизма я считаю тот необратимый факт, что его противники вынуждены думать о нем, считаться с ним, возражать ему — и незаметно для себя опутываются чужими и липкими оценками, точками отсчета и методиками, категориями и терминами. В результате некие явления (или личности), охваченные идеологами КПСС, у их противников заранее считаются положительными и наоборот — все, подвергаемое коммунистами перевозношению, почти автоматически отвергается. Вот свежий пример: недавно в эмигрантской прессе я прочитал пренебрежительно-презрительные отзывы о Радищеве и Чернышевском; мне же, признаюсь, представляется очевидным, что ничтожный или целиком заблуждающийся автор был бы не в состоянии влиять на умы и чувства целые столетия. Если в наше зремя русскоязычные критики все еще считают нужным воевать с Радищевым или Чернышевским, это лишь доказывает непреходящее значение литературного наследства того и другого. Дай Бог, чтобы с их нынешними оппонентами кто-нибудь стал полемизировать через сотню—полторы лет после ухода с общественной сцены!

Такое долгое вступление к разговору о книге Восленского у меня получилось не случайно. Ибо автор "Номенклатуры" положил в основу своего исследования... страшно даже вымолвить... теоретические построения Карла Маркса.

Благожелательно настроенный к Восленскому рецензент "Граней" И. Бирман поспешил выгородить его, назвав "критиком марксизма", а цитату: "Начетнический марксизм номенклатуры — не учение Карла Маркса, а спекуляция его именем, учение же Маркса — это научная гипотеза, заслуживающая серьезного и уважительного отношения" — объявил "расходящейся со всем содержанием книги". Нетерпимый же к Восленскому О. Кустарев в "22" (№44)

начисто забраковал книгу прежде всего за марксизм: "Схема Восленского на самом деле столь же проста, как схема Маркса, точнее даже, не схема Маркса, а один из ее популярных вариантов... Ввиду несомненного существования в советском обществе средних слоев, наивное применение к нему упрощенной дихотомической схемы Маркса можно считать попросту несостоявшимся. Дело даже не доходит до того, чтобы обсуждать правильность или неправильность этого подхода".

На этом примере, кстати, ярко виден типичный методологический прием Кустарева. Как известно, по Марксу средние слои определяются отнюдь не "средним" доходом, а промежуточным положением между владельцами орудий и средств производства ("капиталисты") и лицами, продающими им свою рабочую силу ("пролетарии"). Следовательно, по методике Маркса средних слоев в СССР действительно нет (интеллигенция, целиком находящаяся в СССР на службе, есть разновидность "пролетариев умственного труда"). Кустарев применяет для анализа общества иную методику, а потом негодует, что его результаты не совпадают с результатами Восленского!

Тут самое место добавить: вовсе не нужно быть "марксистом" ("Про себя я точно знаю одно — что я не марксист", — издевался над этим понятием Маркс), чтобы испытывать влияние открытий Маркса. Об огромном воздействии его теории на их мышление писали, например, такие явные "немарксисты", как последователь гандизма Дж. Неру и классик современной лингвистики К. Леви-Стросс (его признание в этом "грехе" было опубликовано как раз в журнале "22"). Мне лично, признаюсь, невозможно представить, чтобы научная система, радикально воздействовавшая на историю человечества на протяжении ста с лишним лет, оказалась ложной во всех своих положениях. Отрицание же истинности открытий и умозаключений Восленского лишь на том основании, что они базируются на марксовых классовых категориях, аналогично, в моих глазах, скажем, отрицанию каких-то современных физических открытий на том основании, что авторы пользовались законами Ньютона... "В науке решающее слово принадлежит истине, а не моде или политической конъюнктуре", — заранее отверг подобные домогательства автор "Номенклатуры".

Научная гипотеза Маркса состояла, в частности, в том, что человечество поступательно приближается к общественной фазе, где производство будет децентрализовано, рассредоточено по самоуправляющимся коммунам (отсюда название фазы — “коммунизм”) — без эксплуатации, отчуждения и аппарата классового насилия, государства. Отсюда вытекали такие условия перехода к коммунизму:

1) Производительные силы развиваются настолько, что переход к разукрупнению и децентрализации станет неизбежным, иначе — стагнация и застой; 2) переход к безгосударственной общественной системе — коммунизму — возможен только в условиях одновременной победы социалистической революции во всем мире (или, по крайней мере, во всех главных странах мира) — иначе эксплуататорские государства уничтожат новое общество, лишенное государственной защиты; 3) на период перехода к новому обществу будет действовать некое **полугосударственное** образование (термин Энгельса), названное диктатурой пролетариата (термин возник по аналогии с римской “диктатурой”, обозначавшей чрезвычайное положение — в обход обычных законов — на исключительно короткий срок для преодоления кризисной ситуации. По Марксу, диктатура пролетариата действует во всемирном масштабе и только на тот краткий период, пока продолжается сопротивление государства, этого аппарата классового насилия.)

Следовательно, согласно “авторизованной” марксовой концепции победа **социалистической** революции не во всемирном масштабе, а в одной, как говаривали в СССР, “отдельно взятой стране” **принципиально** невозможна, потому что в этом случае революционеры лишены возможности осуществить те цели, ради которых, собственно, совершалась революция. Они не могут ликвидировать ни армию, ни полицию, ни госаппарат, потребные для защиты этой “отдельно взятой” страны от агрессии. Они не в состоянии децентрализовать экономику, отобилизованную для отпора все тому же врагу; они не в силах, при самых благих намерениях, предотвратить перерождение диктатуры пролетариата, то есть вооруженной власти рабочего класса, в диктаторское государство — опять же в силу неотвратимой внешней угрозы и жизненной потребности общества в сильном государстве.

Как известно, именно тезис об **одновременности** победы социа-

листической революции во всем мире был подвергнут коренной ревизии в ленинизме ("марксизме эпохи империализма и пролетарских революций"). Победа социалистической революции в России казалась всем настолько осязаемым и неоспоримым историческим аргументом в пользу ленинизма, что даже противники КПСС предпочитали говорить об "извращениях", "отклонениях" (иногда — о принципиальной неосуществимости марксовой гипотезы, якобы доказанной итогом советского эксперимента). Но поскольку ленинский эксперимент на просторах России основывался на начальном условии, категорически противоречившем теоретическим установкам Маркса, он заведомо должен был привести к новым, неожиданным результатам, безусловно не совпадавшим с вычисленными теоретически. Рассуждать в этом случае об "извращении" можно с таким же успехом, как, например, рассуждать о том, как именно Лысенко "извратил" взгляды Мичурина, который к идеям Лысенко просто не имел никакого отношения.

Попытки некоторых марксистских "зубров" (вроде Каутского) вывести ленинский эксперимент за пределы марксизма вызвали у современников снисходительное презрение к этим "выжившим из ума" и "оторвавшимся от жизни" начетчикам и талмудистам (ругательство, изобретенное Сталиным).

Однако в 50-е годы член Политбюро югославского Союза Коммунистов Джилас приложил, наконец, категории и схемы Маркса не к ленинским трудам, а к реальностям того общества, в создании которого он, как практический марксист, участвовал. Его вывод гласил: в странах социализма создано классовое общество, управляемое господствующей эксплуататорской группой, которую югославский теоретик назвал "новым классом". Тогда-то в науке реально возникла новая концепция.

Она почти сразу встретила серьезные возражения социологов. Указывалось, например, что категория "класс" у Маркса обязательно связана с частным владением собственностью. Члены же нового правящего слоя не владеют орудиями и средствами производства, они лишь управляют ими через специальный аппарат. Другое возражение было связано с тем, что у Маркса положение класса определяется прежде всего его отношением к собственности, а новый правящий слой имеет основным оплотом не собственность, а **политическую власть** и потому его следует считать не классом, а, скажем, бюрократическим сословием, политической элитой и т.п. Наконец, имелось еще одно веское возражение: как правило,

господствующие классы передают свою собственность и классовые привилегии по наследству, между тем, новый правящий слой игнорирует этот династический принцип.

В "Номенклатуре" Восленский взял на себя задачу не только проследить исторические предпосылки возникновения джигаловского "нового класса", исследовать закономерности его развития, структуру, социальную психологию, манеру функционирования, но и опровергнуть приведенные возражения против гипотезы Джигалова, используя методику и категории Маркса.

Прежде всего он напоминает, что по Марксу категория "класс" связана не с юридическим владением собственностью, а с фактическим. Фактически же владельцем любой собственности является тот, кто суверенно ею распоряжается. Невозможно оспорить, что суверенно распоряжается всей собственностью на территории любой страны ее правящий слой. Следовательно, этот слой и является в совокупности господствующим классом. Кустарев в своей статье пытается противопоставить номенклатуре так называемую "левую экономику", но забывает, что она составляет ничтожную долю в общем котле советского хозяйства. По данным журнала "Посев" доходы советских частных предпринимателей составляют 5—6 миллиардов рублей в год, тогда как только военные расходы номенклатуры равны 193 миллиардам (в 1983 г.)! "Левая" экономика существовала в СССР всегда и всегда представляла собой дополнительный инструмент номенклатуры для извлечения прибылей из населения — той, которую обычным способом выжать невозможно. Все советские "дельцы", как правило, состоят на учете в ОБХСС, это своеобразные губки, которым позволяют некоторое время всасывать капиталы, потом их изымают из питательной среды, выжимают из них капитал угрозой смертной казни (для того и ввели фантастические по жестокости статьи закона об "экономических преступлениях"), а отработанные "инструменты" отправляют на казнь или в лагерь — а иногда "по второму кругу" в поисках нового капитала. Реальным же хозяином всего остается монополист-номенклатура: достаточно напомнить безвозмездную конфискацию колхозной собственности при преобразовании колхозов в совхозы, прирезание или отрезание приусадебных участков, скота и т.п. и, наконец, последнее по счету (но не по доказательности) — безапелляционное изъятие любого имущества у любого подданного на обыске!

Кустарев пишет: "Номенклатура распоряжается всеми средства-

ми производства, но это еще не значит, что она собственник... Социологическое или политэкономическое теоретизирование по этому вопросу невозможно без юридического теоретизирования". А почему, собственно, невозможно? Соотношение фактического и юридического владения собственностью — интересная, но второстепенная, ч а с т н а я в данном случае проблема. Суверенно распоряжающийся собственностью субъект остается ее владельцем, даже если в каких-то своих целях счел целесообразным оформить юридическое владение на другое лицо; это особенно очевидно в ситуации, когда "юридический собственник" заведомо лишен всякой возможности реализовать свои "права" в правовых инстанциях: например, колхоз против райкома партии или газета "Правда" против отдела пропаганды ЦК КПСС. Что касается возражения, будто никто из членов "нового класса" не имеет личной доли в коллективной собственности, то тут Восленский апеллирует к истории: спартиаты, например, владели илотами коллективно; в средние века церковь была коллективным собственником огромных богатств, — но это не мешало рассматривать каждого спартиата в отдельности или каждого клирика персонально в качестве членов правящего класса своей страны.

Возражение, что могущество "нового класса" основано не на владении собственностью, а на политической власти, Восленский опровергает тем, что указывает, что именно в этом и состоит с п е ц и ф и к а этого класса, сложившаяся в ходе его исторического становления. Исторически буржуазия сначала стала классом-собственником, а затем, опираясь на собственность, захватила политическую власть. Поэтому она и дорожит сначала собственностью и лишь во вторую очередь властью, доверяя управление ею профессионалам-политикам. Развитие номенклатуры исторически складывалось иначе: сначала овладение властью и, уже опираясь на нее, собственностью. Поэтому ее первостепенная задача — охрана и укрепление власти и лишь затем — собственности. Отсюда, кстати, вытекают и сходные следствия: для буржуазного капитала характерна тяга к безудержному расширению даже тогда, когда в таком расширении уже нет практической выгоды для владельцев, номенклатурщики же аналогично стремятся к безудержному расширению политической власти, даже если это становится не слишком выгодным для самих властителей. Вот почему неразумно удивляться организации коммунистического переворота в дружественном, фактически полуассальном по отношению к СССР афганском

королевстве. С точки зрения социальной психологии тяга к непрерывному расширению капитала у буржуазии и тяга к беспредельному расширению сферы власти у номенклатурщика, возможно, явления сходного порядка.

Приходится слышать утверждение, будто номенклатура — это разновидность всемирной бюрократии, а не особый класс. Восленский напоминает, что обычной бюрократии свойственна специализация и линейное продвижение вверх, тогда как для номенклатуры характерны универсальность функций и продвижение в стороны. Кто не помнит управителя радиокомитетом, преобразовавшегося в начальника столичной милиции, шефа легкой промышленности, ставшего идеологом КПСС, а потом министром культуры, секретаря обкома, заделавшегося послом в... Китае, дипломата, ставшего секретарем столичного горкома (вместо другого секретаря горкома, ставшего, в свою очередь, дипломатом), комсомольского босса, брошенного управлять спортом, и спортсмена, назначенного ректором университета?! Отличие от типичной бюрократии принципиальное...

Б возражение об отсутствии у номенклатуры наследования классовых привилегий Восленский опровергает несколько "по-марксистски", ссылаясь на то, что в марксово определение "класса" этот признак никогда не включался. Но наследование собственности и привилегий исторически присуще господствующим классам разных стран и народов независимо от того, включен этот признак в определение кем-то из теоретиков или нет. Однако защита гипотезы "нового класса" в этом пункте несложна. Дело в том, что наследование собственности и привилегий устанавливается обычно веками, это длительный исторический процесс (напомним, что родовитые вотчинные русские бояре, например, вышли из среды княжеских *р а б о в*). В особом разделе Восленский и сам показывает, что процесс "воспроизводства" номенклатуры по наследству возникает уже на наших глазах. Не следует забывать, что современная номенклатура организовалась как правящий слой всего 30—35 лет назад (после войны и сталинских перетряхиваний), так что исторический процесс наследования ее классовых привилегий находится пока еще только на старте.

\* \* \*

Что нового дает науке гипотеза о классовом характере советского общества.

Прежде всего она позволяет дать логичное объяснение загадочным феноменам, наблюдаемым в процессе нынешнего исторического развития (например, упоминавшийся феномен постоянного распространения политической власти на чужие территории). Вот еще одно повторяющееся в разных странах и любопытное явление: политическая, а иногда и физическая гибель дореволюционного содружества коммунистов — "ленинской дружины", по выражению Восленского. Восленский объясняет это тем, что люди, некогда поверившие в идеалы бесклассового общества, позже, после победы революции, когда не только центральный аппарат, но и более широкие кадры вынуждаются участвовать в процессе управления, заняты не уничтожением государства, но делом прямо противоположным: созданием нового господствующего класса и укреплении государственной машины; выхода у них нет; тех, кто подобно Розе Люксембург, пробует сохранить бывшие идеалы, ждет судьба Розы Люксембург... Но исполняя неизбежную историческую роль, эти "старые коммунисты" пригодны для нее гораздо менее, чем те, кто решил примкнуть к правящей партии после победы, руководствуясь природными способностями к пребыванию в рядах господствующего класса и страстным желанием использовать все выгоды начальственного положения, уплатив за него любую мыслимую цену. Борцы "ленинской дружины" (в среднем) проигрывают новым конкурентам, так сказать, по Дарвину. "Над этой закономерностью надо серьезно задуматься коммунистам в капиталистических странах, — пишет Восленский. — Те из них, кто наивно воображает, что после революции их ждет власть и величие, жестоко ошибаются. Многих из них ожидают лагерь, трибунал и расстрел, в благополучном случае — исключение из партии и прозябание на жалких должностях. Только для немногих — тех, кто быстро выбросит из головы все марксистские убеждения и заменит их одним, до конца последовательным убеждением любой ценой пролезть наверх, — откроется малопочетная перспектива стать палачами своих сегодняшних товарищей. К власти и славе придут не нынешние коммунисты, а те, кого они сегодня пренебрежительно рассматривают как мелкобуржуазный элемент".

Восленский понимает, что самая достоверная научная гипотеза не может дать больше, чем она может дать, и неизбежно ограничена кругом знаний и представлений своего времени: требовать от нее абсолютной достоверности нелепо. В случае общественных наук ситуация еще больше осложняется тем, что, раз возникнув, гипо-

теза или теория обладает мощным эффектом обратной связи, то есть таким воздействием на общественное сознание, которое, в свою очередь, способно изменить ход общественного процесса. Восленский, например, считает, что коренное несовпадение реального общественного процесса эпохи позднего капитализма на Западе с тем, который был предсказан Марксом, в значительной мере объясняется как раз появлением в XIX веке теории научного коммунизма, послужившей мощнейшим стимулятором для возникновения нового и одного из решающих общественных факторов — организованного рабочего движения. Именно воздействие этого неучтенного теорией фактора на мировой исторический процесс заставило правящие круги западных стран (а за ними и многих других обладателей "рычагов власти") пойти на структурные реформы, принципиально изменившие лицо капиталистического общества по сравнению с тем, которое было предсказано Марксом.

Ход мысли Восленского заставляет нас попробовать применить ту же схему к России. С точки зрения ортодоксального марксизма проведение радикально-экстремистской революции 1917 г. привело, во-1х, к колоссальному разрушению производительных сил страны (по подсчетам Ленина было выведено из строя до двух третей производственных мощностей, а людские потери исчислялись десятками миллионов, причем потеряны были наиболее квалифицированные кадры); во-2х, к чрезвычайному укреплению государственного, военного и карательного аппарата, неизбежному в условиях враждебного окружения и недовольства огромной массы населения; в-3х, к невероятному усилению централизации в хозяйстве страны, опять-таки необходимому для усиления государственной мощи. С этой точки зрения, процесс, который исторически был неизбежен и как бы даже вынужден всей сложившейся обстановкой, не только не вел производительные силы и производственные отношения от капитализма к социализму (по Марксу, во всяком случае), но, напротив, явно уводил от зрелого, развивавшегося капитализма к уровню эпохи, которая в базовой теории именовалась "эпохой первоначального накопления" с ее беспощадной центральной властью и агрессивным стремлением экспроприировать как собственность своих подданных (пример — английское "огораживание"), так и собственность других народов (европейская "колониальная экспансия").

В этом случае вывод, что на самом деле в СССР и других соц-странах пока что создан (не по злой воле обманщиков-коммуни-

тов, но по логике именно марксовой социально-исторической необходимости) некий вариант капиталистического строя, отличающийся от уже развившегося капитализма сильной **социальной отсталостью**, кажется обоснованным. Не случайно Джилас при чтении "Номенклатуры" пришел к новому определению, назвав советский строй (в предисловии к книге Восленского) "индустриальным феодализмом". Джилас явно имеет в виду, что по сравнению с классическим капитализмом сей фиктивный "социализм" есть падение в прошлое на марксовой исторической лестнице.

Почему я назвал эту статью "Апология марксизма"? Потому что катастрофические неудачи КПСС на пути к провозглашенному ею коммунизму (в 1985 г. из программы партии были удалены пункты, где хотя бы назывались некие коммунистические мероприятия) заставляют многих современников считать научный коммунизм полностью опровергнутым результатами социального эксперимента, проведенного в России и Восточной Европе. Если Восленский прав и перед нами действительно марксова модель отсталого, специфически развившегося буржуазного общества, тогда вопрос об объективной ценности гипотезы Маркса теоретически нельзя считать решенным бесповоротно — напротив, появляются основания полагать, что в некоторых (естественно, не во всех) сферах анализ и предсказания Маркса не потеряли научной ценности и в наше время.

Я понимаю, что такое суждение мало популярно, и в доказательство, что действительно понимаю, процитирую интересную, вопреки фельетонному стилю, статью А. Ласкова из позабытого "Ковчега" (№1, 1978): "Во-1х, в Союзе в диссидентских кругах вообще невелик интерес к теоретическим построениям: и без того никаких перспектив на свободу нет, а еще тревожить себя тем, что после обретения этой свободы делать, представляется блажью. Во-2х, от социализма до того все натерпелись, что и слова этого предпочитают не слышать, какими эпитетами его ни украшай: "свободный", "демократический", "с человеческим лицом"... Тем не менее история человечества протекает, равнодушная к нашим, вполне законным эмоциям. И если гипотеза Маркса помогает лучше осознать некие ракурсы современной жизни и увидеть новые перспективы нашего мира, то придется вспомнить и его — надоевшего на институтских лекциях и семинарах бородача. Ибо древними было сказано, что "разумного судьба ведет, а неразумного тащит". Если нет у нас выбора, лучше пусть все-таки судьба ведет...

Я не люблю парадоксов — такой у меня несовременный вкус. И если в дальнейшем читателя смутит несколько парадоксальная нелогичность оценок, прошу поверить, что это произошло лишь в силу внутренней логики статьи.

Парадоксальность эта, в общем, сводится к тому, что мое резко критическое отношение к содержанию статьи Кустарева в "22" находится в странном противоречии с безусловным одобрением ее, как бы это выразиться? — пафоса, ее настроя...

По отношению к книге Восленского Кустарев пристрастен и несправедлив поразительно. Вот он упрекает: "Сейчас не 1948 год, и всякий, кто собирается настаивать, что советское общество классовое, должен хотя бы формально обозначить свое несогласие со статусным подходом". Но стоит заглянуть в книгу, как с первых же страниц натыкаешься именно на требуемое обозначение. Это глава "Советское общество — тоже антагонистическое", где Восленский подробно, с десятком ссылок, аргументирует свой выбор методики стратификации советского общества (оговаривая при этом существование других точек зрения!). Говоря объективно, аргументация эта уязвима: исследовав обширную литературу, Восленский пришел к выводу, что чем лучше тот или иной исследователь знает советское общество, причем на практике, тем больше такой исследователь склоняется к классовой модели. Можно не соглашаться с такой апелляцией к авторитетам — в конце концов, даже добросовестные свидетели и исследователи могут ошибаться, и если бы Кустарев просто оспорил эти мнения, к его точке зрения стоило бы отнестись с вниманием. Но когда он делает вид, будто Восленский вообще не аргументировал свой выбор модели, он говорит заведомую неправду.

Кустарев посвящает много страниц опровержению тех категорий, которыми Восленский часто пользуется: господство, эксплуатация, паразитизм. "То, что Восленский иллюстрирует как господство, по логике советской философии — функционально необходимыми авторитет. Теория руководящей роли партии аргументирована, и надо бы разобраться в этой аргументации". Опять вроде бы верно, устали мы от пропаганды, хочется разобраться, может, действительно, в функционировании начальства есть некий общественный смысл, который мы в силу своего социального положения не можем уловить. Но стоит опять-таки заглянуть в текст книги,

и находишь целый раздел (кстати, один из лучших в ней) — “Разговор с номенклатурным работником”, в котором как раз изложены и теория руководящей роли партии со всей ее аргументацией, и разбор этой аргументации. Словно Восленский из прошлого прочитал будущую статью Кустарева и заранее ответил на все его вопросы...

Аналогична ситуация с категорией “эксплуатация”. Кустарев пишет: “Эксплуатация как научная категория не признана”. Предположим. Но уже на следующей странице она вдруг у него же обретает права на существование: “Чтобы доказать, что имеет место эксплуатация, нужно доказать, что прибавочный продукт используется исключительно в интересах какой-либо одной группы, может быть, даже не просто в ее интересах, а на ее **паразитическое** потребление”. Далее Кустарев доказывает, что номенклатура не является паразитической: “Паразитической группой можно считать только такую, которая в данном обществе не выполняет никакой реальной функции. Между тем верхний слой советского общества выполняет ряд совершенно реальных функций. Например, он вырабатывает цели общества, он планирует. Мы можем не разделять этих целей, мы можем утверждать, что верхний слой узурпировал эту функцию, но утверждать, что верхний слой — паразитический, неосторожно. В эпоху европейских буржуазных революций революционная пропаганда называла паразитами феодалов, в эпоху пролетарских революций — буржуазию. И это никогда не имело полных объективных оснований”.

Но если мы заглянем снова в текст, то увидим, что Восленский посвятил десятки страниц, целые главы с в о е м у определению тех же категорий, и эти определения не имеют ничего общего с кустаревскими. Вот что он говорит: “Что означает паразитизм класса? Не следует его понимать по-плакатному буквально: что класс этот, выражаясь словами Маяковского, только ест ананасы и жует рябчиков. Правящий класс правит, а это уже — занятие, отличное от смакования деликатесов. Вопрос в том, к а к он правит... Паразитическое перерождение любого господствующего класса состоит в падении его исторической рентабельности. Она может быть определена по обычной формуле: рентабельность равна полученной пользе за вычетом производственных издержек... Наступает момент, когда издержки общества на господствующий класс начинают превышать его взнос в благосостояние общества... Он стал классом-паразитом, наносящим обществу ущерб... Цена

правления класса номенклатуры в СССР велика и тягостна. Паразитизм едока ананасов безобиден в сравнении с паразитизмом лакомок власти, правящих ради садистского наслаждения своим господством над другими людьми”.

Восленский подробно исследовал то явление, которое назвал паразитизмом. Он перечисляет и достижения номенклатуры (развитие тяжелой промышленности; увеличение военной мощи СССР; низкую плату за жилье, транспорт, бесплатное медобслуживание и образование и т.п.). Он подсчитал и баланс убытков и прибылей от ее деятельности. Об убытках он пишет: “Главной формой организационного паразитизма номенклатуры является дублирование партийными органами работы государственных органов... Вторая организационная форма паразитизма номенклатуры состоит в том, что у каждого номенклатурщика непременно есть заместители, и чем выше номенклатурщик, тем больше у него заместителей... Нет, номенклатурщики не бездельники, они занятые люди. Только занятие их делание карьеры, а не работа для общества. Любой класс преследует свои цели, ни один из них не руководствуется любовью к человечеству. Но класс, не имеющий полной монополии на господство, вынужден оплачивать свою руководящую позицию работой в интересах общества. А классу-монополисту номенклатуре этого не нужно, и здесь находится корень его быстрого перерождения”.

Мне кажется, что Кустарев напрасно считает, будто определения “дармоеды” и “паразиты” в адрес номенклатурщиков произносятся только “в сердцах”. Я сам, например, впервые задумался над этим отнюдь не “в сердцах”, а при попытке осмыслить некое явление, которое наблюдал собственными глазами. В то время я работал литредактором в пионерском журнале. Во время выпуска одного из летних номеров главный редактор находился в отпуске, а заму как раз досталась выгодная путевка. К общему изумлению редакции, мы выпустили тот номер, просто не заметив, что начальства нет в кабинетах... И даже для партийного контроля оба оказались излишними, номер оказался точно таким же “идейно-выдержанным”, как те, что мы выпускали с начальниками.

Что касается категории “эксплуатации”, то, возможно, Кустарев прав в том, что западные учебники считают его “ненаучным”. Но как объяснить без этого термина тот факт, что несмотря на низкую производительность труда советского рабочего номенклатура все же выколачивает из него прибыли, несоизмеримые с прибылями высокопроизводительных западных рабочих? Восленский указыва-

ет, что, например, за 1934—36 гг. (годы стахановского движения) прибыли номенклатуры выросли в 7,5 раз! А рост прибылей, скажем, за 9-ю пятилетку составил 50%!

То же можно сказать о критике Кустаревым применения Восленским понятия прибавочной стоимости, используемого им для объяснения эксплуатации. Это понятие, пишет Кустарев, "в марксизме жестко связано с рыночным характером экономики". Но разве в СССР мы не покупали товары в магазине? Разве в цену этих товаров не был заранее включен, скажем, налог с оборота, составляющий значительную долю стоимости, которая оставалась в распоряжении собственника (то есть казны) после вычета производственных расходов? По данным Восленского (взятым из советской литературы) этот налог составляет на текстиль от 50 до 75%, на муку — 50%, на растительное масло — 70% и т.д. Разумеется, в СССР наряду с его специфическим рыночным хозяйством существует и внеэкономическое принуждение плюс иные формы изъятия прибавочного продукта. Восленского интересовали все способы получения номенклатурой прибыли, поэтому он и писал спокойно: "Прибавочный продукт (прибавочная стоимость) ..." — а Кустарев его в этом укоряет.

Наконец, Кустарев упрекает автора в "пародировании", утверждая, что в этом, в частности, состоит некая "фольклорность" схемы Восленского. В доказательство он цитирует книгу: "Да почему же номенклатура? — заволнуется научный коммунист. — Ну, правильно, товарищи из номенклатуры лично не стоят у станка и оплачиваются... по их ответственному труду, причем действительно за счет прибавочного продукта. Но не только же они? Вся советская интеллигенция; все служащие, вооруженные силы..." В этом месте Кустарев обрывает цитату из книги и заключает: "Пародийное изложение аргументации противника подрывает доверие третьей стороны к этой аргументации. Но на самом деле, если вдуматься в то, что говорит номенклатурщик, то все окажется правильным. И чтобы критиковать это утверждение, нужно нечто большее, чем простое их пародийное переложение... Пародия — чисто фольклорное средство дезавуирования".

Но все дело в том, что в книге после слов "вооруженные силы" стоит не многоточие, нет, мысль продолжена следующим образом: "За этот же счет производятся капиталовложения, осуществляется развитие науки, техники и культуры, советские люди завоевывают космос. А вас послушать, так выходит, что номенклатурные това-

рищи, как, извините, саранча, сжирают весь прибавочный продукт..." И далее Восленский пишет: "Нет, мы этого не сказали... Несомненно, номенклатурщики — кстати, подобно рабовладельцам, феодалам и капиталистам — проедают не всю прибавочную стоимость. Однако получает ее класс номенклатуры в с ю безраздельно. Это гарантируется тем, что при реальном социализме вся прибавочная стоимость поступает государству, а оно целиком принадлежит классу номенклатуры. Получив же полностью всю прибавочную стоимость, номенклатура исключительно по собственному усмотрению распределяет, что истратить на свои прихоти, а что — на оплату служащих и интеллигенции". Как видит читатель, Кустарев слишком рано согласился с номенклатурщиком, слишком быстро капитулировал перед дешевой демагогией этого персонажа книги Восленского .. Грустно.

Грустно потому, что Кустарев прав по сути. Мы действительно зачастую неквалифицированы в своих суждениях, поверхностны и поспешны, далеки от серьезного научного подхода, провинциальны в своем жадном стремлении выглядеть на уровне мировых стандартов. Все эти упреки, обозначенные Кустаревым одним словом "фольклорность", действительно нам свойственны. Все это подмечено и классифицировано Кустаревым с наболевшей зоркостью. И вот, когда эмиграция родила, наконец, книгу, достойную международных стандартов, ее же, эмиграции, критика обрушилась на эту книгу в полном соответствии с зафиксированными Кустаревым признаками нашей общей болезни.

\* \* \*

Действительно, посмотрим на другие рецензии. М. Кулмагамбетов в "Форуме" высказал много живых и ценных наблюдений, но едва он начинает говорить о книге по существу, выясняется, что он ее не понял. Он прав, когда говорит о страданиях колонизированных народов, но Восленский-то пишет о другом — о том, что и русские, которые извне кажутся привилегированным сословием "господ", сами ощущают себя жертвами той же политики. Кулмагамбетову, видимо, не верится, что русские, которых он привык воспринимать как расу начальников, у себя на Родине, в России, жили хуже казахов. Действительно, русский инженер, механизатор, чиновник получают в Казахстане столько же, сколько казахи; стало быть, они едут туда лишь потому, что тамошние ставки и общие условия

жизни выше, чем в собственно России. Я знаю это из практики — я отбывал ссылку в том самом злосчастном Ермаке, который с горечью упоминает Кулмагамбетов, и могу засвидетельствовать, что снабжение в этом районном центре Казахстана было на уровне “столичного” Ленинграда, куда я прибыл потом.

Наивно выглядят попытки Кулмагамбетова доказать, что преимущества снабжения Москвы по сравнению с Казахстаном якобы свидетельствуют о колониальном характере “русского господства”. Москва-то в империи одна... В основе его рассуждений лежит традиционная схема: дескать, империя грабит окраинные народы ради блага метрополии. Между тем реальная схема куда сложнее. Она состоит в том, чтобы создать окраинам лучшие в среднем условия жизни, чем в собственно России, но делается это отнюдь не для блага местного населения, а чтобы таким способом создать экономические рычаги для демографического освоения национальных областей русским (славянским) населением, формируя из него на местах своеобразную служилую массу-сословие во взрывоопасных точках империи. Естественно, что русская масса ощущает себя в этих местах, как всякая эмигрантская масса, то есть выгадывает в уровне жизни, но теряет многое в ее качестве, окруженная недоброжелательством аборигенов, да и просто чужой, а потому тяжелой средой. Восленский описал, между делом, важный феномен, специфически характеризующий советскую имперскую политику, показав, кстати, ее уязвимое место, а именно — также и **антирусский** характер, что дает националам дополнительные политические возможности. А критик из “Форума” упрекает его в защите... русского шовинизма. Вот на таком уровне идет у нас полемика!

Не порадовала меня и статья Р. Редлиха в “Гранях”. Вроде бы правильно написал все критик: сравнил один день солженицыновского Ивана Денисовича с одним днем номенклатурщика Дениса Ивановича у Восленского. Но дело в том, что эгалитаристские убеждения: все, мол, должны жить поровну, по справедливости — уже оставили, по-моему, массу народа — во всяком случае, в крупных центрах. Даже самые злые работяги считают сейчас, что начальник и должен зарабатывать больше подчиненного. Что завсектором ЦК зарабатывает и получает больше благ, чем каторжник, — да кого же это удивит, кого озаботит? Критик пропустил, по-моему, самое главное и насущное в этом сюжете — относительную **н и щ е т** у завсектором ЦК! Это действительно поражает нашего выехав-

шего на Запад читателя. В его глазах завсектором ЦК был некогда своего рода небожителем, живущем в сказочной стране Номенклатурии, где чего только нет! И вот Восленский подробно описывает, что же там есть. Боже мой, какие мелочи по здешним масштабам! Да кто же здесь, на Западе, не имеет своей трех-четырёхкомнатной квартиры в приличном районе? Вот и у меня в небогатом Израиле такая же квартира, как у завсектором ЦК, и доход у моей семьи, как заработок этого чина, включая все его цековские надбавки. А любой инженер на израильском, скажем, авиазаводе о д и н зарабатывает столько же, сколько этот завсектором (1000 долларов, по прикидкам Восленского). Когда же Восленский пытается описать "роскошь", в которой живут совсем уж "небожители" — члены Политбюро, то описывает он бывшие особняки Берии или Горького, которые не снились, конечно, рядовому советскому человеку; но трудно тут не вспомнить, что достались они владельцам от прежних ограбленных хозяев, один из которых был богатым купцом, а другой — московским барином. То есть "сказочная роскошь" х о з я е в с т р а н ы при Сталине равнялась уровню среднебогатого человека при царском режиме. В описаниях Восленского поражает не богатство, а относительная бедность обитателей Номенклатурии! Власти много, а вот доход — не в сравнении со среднесоветским, конечно, а относительно дохода рядового работника на Западе — просто низок. А уж относительно работника того же уровня в Европе или США — ничтожно мал. С тех пор, как сие стало понятно членам класса номенклатуры, это превратилось для них в серьезнейшую социальную проблему. Проблему, связанную с возникшей отсюда же невероятной коррумпированностью, с классовой ненадежностью своих же коллег — моральной, а вслед за ней и политической. "Вы перехитрили самих себя, — обращается к номенклатурщикам Воспенский, — установили систему, при которой вам же живется хуже, чем жилось бы без нее. Диктаторски правящие в подчиненных вам странах, вы сами несвободны по сравнению с людьми, живущими на Западе, да и в Третьем мире. Вам живется хорошо только по сравнению с вашими же подданными. Подумайте: ведь это патология — жить хуже, чем вы могли бы, ради только того, чтобы всем другим в стране жилось еще хуже".

Это действительно реальная и очень острая для СССР социальная проблема, которая, возможно, способна подвинуть нынешний "подмороженный" СССР к структурным реформам. Во всяком

случае в номенклатурных кругах эту опасность сознают и от нее реально ищут спасения.

Размеры этой статьи уже превзошли все намеченные мною параметры, поэтому еще об одной рецензии — Игоря Бирмана в "Грани" (№ 137) скажу коротко: ее единственное достоинство состоит в том, что автор сам понимает, насколько она поверхностная, дилетантская или, выражаясь по Кустареву, "фольклорная". Ее главный недостаток в том, что, сознавая все это, автор все же ее написал и тем более напечатал.

\* \* \*

Я обещал читателю парадокс и теперь возвращаюсь к нему. По моей оценке, недостатки книги Восленского (а они в ней безусловно есть, как во всяком обширном труде, охватывающем десятки проблем) все же связаны с тем, в чем прав его главный оппонент Кустарев. Если сам Кустарев отбросил (как "ненаучный") классовый подход, то Восленский счел возможным полностью пренебречь подходом статусным и прочими современными методиками. Между тем метод Вебера и других социологов вовсе не противоречит избранной им схеме — он ее необходимо дополняет. Трудно удержаться от метафоры: Восленский напоминает мне архитектора, который разработал проект здания; критик проекта (Кустарев) заявил, что архитектор, который занимается одним каркасом, не проектируя одновременно все подробности интерьера, — вообще не архитектор. Это безусловно неверно. Но верно другое: если архитектор в своем плане не учел особенности и вкусы интерьерщиков, то в его проект придется вносить поправки и изменения, иногда даже ломать стены и перегородки.

Конкретно это означает следующее. Когда Восленский доказывает, что лидер номенклатуры всегда есть лидер господствующего класса, действующий в его интересах, он прав. Он выразительно описал, как возникает силовое поле классовых интересов, охватывающее всех "управителей" снизу доверху. Но реальные отношения лидеров с руководимой массой класса строятся все же более сложно, в том числе и в советском обществе. Масса "управителей" всегда и везде стремится к корпоративной самоорганизации (и Восленский, кстати, сам изобразил, как оформляется эта корпорация в СССР); лидер же класса везде, в том числе и в СССР, стремится стать тоталитарным хозяином. Учет этого феномена требует более

тонких методик, чем чисто "классовая". Скажем, террор 1937—38 гг. Восленский пытается объяснить как уничтожение "ленинской дружины" новым поколением номенклатурщиков, "сталинской ватагой". Между тем этот сюжет как раз требует более тонкого анализа. Дело в том, что "ленинская дружина" была разгромлена раньше, уже в 20-е гг., и ее физическое истребление не диктовалось никакой политической необходимостью: вряд ли, например, Л.Каменев на своем последнем посту директора издательства "Академия" был опасен Сталину. Разумеется, ленинцев тоже уничтожали в 30-е гг., но делали это, во-1х, чтобы подорвать в народе авторитет члена номенклатуры, то есть сделать ее в с ю, до последнего человека, уязвимой, а во-2х, в качестве некоего "дополнительного украшения" террора. Главной же мишенью НКВД была именно "сталинская ватага" — именно она составляла основную массу делегатов 17-го съезда ("съезда победителей"). Не могу не упрекнуть Восленского: он умышленно подгоняет цифры и факты террора под свою упрощенную схему — например, партстаж делегатов исчисляется не с 1917-го, а с 1920 г. (и тогда в "ленинскую дружину" попадает, естественно, большинство делегатов), а партстаж секретарей губкомов исчисляется почему-то лишь для тех, кто занимал эти должности в 1930 г., хотя ясно, что именно после этого года "старичков" усиленно из этих кресел выживали; наконец, члену партии с дореволюционным стажем (то есть как бы "ленинцу") Ягоде противопоставляется "сталинец" Ежов (член партии с 1917 г.), а к нему подверстывается его зам Шкирятов, которые и называются главными организаторами террора. Между тем дореволюционный стаж Ягоды более чем сомнителен (об этом писал Бажанов), самые важные этапы террора подготовил именно Ягода, а практическими организаторами террора при Ежове были кадровые чекисты из старых революционеров Заковский, Фринковский, Берман (о чем писал Орлов). На самом деле Сталин уничтожал не ленинскую, а с в о ю команду (как Гитлер — штурмовиков), ибо для нее он еще оставался классовым лидером, политическим руководителем, а хотел стать ее повелителем. То есть в исторической реальности 1937—38 гг. действовал механизм более сложный, чем простая схватка двух поколений — это был этап типичной борьбы лидера с пытавшимся самоорганизоваться аппаратом.

У меня есть еще много претензий к Восленскому по мелочам. Сомнительно его толкование мотивов вступления Ленина на революционную стезю: якобы царское правительство оборвало дорогу

к большой карьере, и он выбрал революционный путь для реализации своих потенций. Ведь Ленин мог ощущать в себе огромную и с т о р и ч е с к у ю потенцию, так что никакая карьера в качестве адвоката или земского деятеля не могла казаться ему достойной. Другое дело — чем обернулись для его родины и человечества его потенции, но что "Ленин был великим человеком, талантливым организатором и революционером, гениальным политическим стратегом и тактиком", — это ведь сам Восленский пишет.

И насчет Сталина в книге много сомнительного. Сталин, мол, трус, потому и безумно себя охранял, и на фронт не выезжал. Как будто часто на фронт выезжал, скажем, Рузвельт, тоже ведь верховный главнокомандующий! Что же касается панической боязни покушений, то, может, она лишний раз доказывает, что Сталин действительно был великим политиком, величайшим в свою эпоху, и в качестве такового реально оценивал свою важность? Может, он мерил своих современников собственной меркой и именно потому ждал от них выстрела из-за любого угла? Его дочь описывает, как в каком-то грузинском селе его встретили застольем, и он, вернувшись с полдороги, грубо сказал ей: "Дураки. Грузины — дураки..." Может, он лучше земляков понимал, как к нему, главному палачу грузинской независимости, на самом деле должны были бы относиться грузины? Сомнительным выглядит и документ о связях Сталина с царской охранкой. Почему это вдруг жандармы писали, что Сталин избран в "ЦК Партии"? Для них не существовало партии (да еще с большой буквы), партий было тогда много, они писали: "ЦК эсеров, эсдеков, кадетов и проч.". И почему вдруг уже в 1913 году они именуют его Джугашвили-Сталиным, если и для Ленина он еще несколько лет оставался Кобой? Все это не означает, будто я подвергаю сомнению версию о его связях с охранкой — как раз теоретически она возможна; но в моих глазах она компрометирует Сталина не больше, чем, скажем, Гитлера тот факт, что он был заслан в национал-социалистическую партию как агент фон Эппа. Величайший политик своего времени, Сталин вполне мог разыгрывать в своих интересах и эту карту, и не жандармам было его переиграть — это о н и х использовал, а не они его.

Несколько слов о "статусной" ситуации в СССР вообще. Это отдельная, серьезная тема, заслуживающая специальной разработки (что, конечно, не зачеркивает необходимость предварительного к л а с с о в о г о анализа, проведенного Восленским). "Игры со статусами" многое объясняют в советской системе. Для нее харак-

терен чрезвычайно важный и специфический феномен, когда статусными преимуществами жертвуют ради сохранения классовых интересов. Номенклатура охотно дает (отдает) низшим классам общества статусные привилегии, чтобы компенсировать им их социальную приниженность. Этим можно объяснить назойливое подчеркивание "руководящей роли рабочего класса", Верховные и прочие советы с их обязательным процентом депутатов из "низов", специфику распределения официальных наград (скажем, во время войны политработники почти не получали звания Героя Советского Союза), секретность, которой окружают свою жизнь подлинные хозяева страны, и многое другое. Статусный метод важен и интересен, он может открыть массу дополнительных и ключевых подробностей в советской реальности, но отказываться при этом от классовой модели означало бы начисто зачеркнуть любую попытку теоретически осмыслить советский феномен.

\* \* \*

Несколько слов в заключение.

Написал ли Восленский книгу, пронизанную антисоветскими эмоциями, а потому пропагандную и недостаточно научную?

Он понимал эту опасность, он всеми силами старался ее избежать. В его книге Ленин назван великим человеком. Сталин — величайшим политиком, Андропов — интересным политиком, он объективно оценивает многих номенклатурщиков, как людей талантливых, умных, деловых, он подробно перечисляет социальные достижения номенклатуры, дает слово номенклатурщикам для оправдания их политики и мировоззрения. Он признает, что многим достижениям номенклатуры позавидовали бы десятки слаборазвитых стран мира. Тем не менее невозможно отрицать наличие эмоционального заряда ненависти и презрения, которым пронизана каждая строчка его книги.

Восленский человек русский. И при самом искреннем стремлении быть объективным он не в состоянии это сделать, как не может быть хладнокровным свидетелем сын, рассказывающий о насилиях и издевательствах над его матерью. Оказавшись на Западе, мы внезапно увидели, что приехали из несметно богатой страны, где люди работают, как минимум, не хуже, чем американцы, а живут — в зависимости от того, с какой страной мы их сравниваем, — в 3–10 раз хуже. Об ограничениях в свободе не стоит упоминать: любой

студент в любой развитой стране может легче выразить свою точку зрения в печати, быстрее отправиться в любую страну, спокойнее выбрать себе компанию по вкусу, город по любви, ресторан по нраву, чем секретарь ЦК КПСС! Что особенно добивает русского человека: при его-то потенциях, при богатстве его страны, русских, в сущности, совершенно незаслуженно всюду презируют. Эмигрантская пресса буквально воем исходит на всемирную русофобию. Compliments же, официально расточаемые иностранцами советской номенклатуре, — это просто разновидность дани, какую цивилизованные народы привыкли дарить во время визитов к дикарям: "О, великий, и могучий, и украшенный замечательным кольцом в носу, которому нет равных в мире..." В цивилизованном обществе так друг с другом не говорят: это припасено для варваров.

Естественно, русский человек, попав на Запад, не может не возненавидеть класс, который довел его великую страну до столь позорного состояния. И конечно, отголоски этой страсти мы чувствуем в книге Восленского. Нелепо это отрицать. Но — без великой страсти ничего не делается творческого в науке. Если вылучить из себя пылкое чувство — останешься жалким копировщиком чужих схем, приложенных к чужим примерам...

О. Кустарев написал, что академическая наука, элитарная публицистика задним числом выполняют своего рода функцию ОТК, ставя на все фольклорные идеи соответствующее клеймо, в результате чего, собственно, и совершается подлинное движение культуры. В этом он прав. Вряд ли в нынешнем научном мире мы отыщем многих ученых, более авторитетных в науке о советском обществе, чем профессор Гарвардского университета Р. Пайпс. Но именно он поставил недавно клеймо "высокое качество" на страстной, иногда почти художественной книге профессора Михаила Восленского.

#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

ДАВИД ТАКСЕР. ИСК

200 стр.

Остросюжетная автобиографическая повесть о судьбе советского офицера-перебежчика, выданного англичанами советским властям, развертывается на фоне оккупированной Германии 45-го года. Предварительная цена 10 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Около десяти лет назад американский зоолог Эдвард Вильсон выдвинул новую гипотезу происхождения человеческой культуры. По Вильсону, культура формируется не только в ходе социального взаимодействия людей, но и под влиянием врожденных генетических механизмов.

Если представить себе людей, чье поведение полностью контролируется генами, то какова бы ни была история различных коллективов таких людей, культура этих коллективов будет одинаковой — в той мере, в какой одинаковы их гены. Напротив, коллективы воображаемых существ, поведение которых абсолютно не зависит от врожденных генетических программ, не должны были бы иметь никакой культурной общности друг с другом. В действительности наблюдается промежуточный случай: культуры различных групп различны, но имеют много общих черт. Так, почти все человеческие группы (культуры) запрещают "инцест", то есть кровосмешение, которое увеличивает вероятность появления дефектного потомства.

Вильсон утверждает, что это связано с генами. У одних людей имеются гены, исключаящие инцест, у других их нет; если в ходе эволюции выживали, в основном, потомки людей с противоиnceстными генами, то ясно, что они создавали культуры, в которых инцест исключен.

*Джозеф Шефер, Юдит Райзман*

**ПОРНОГРАФИЯ: ПОПЫТКА  
СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЪЯСНЕНИЯ**

Оппоненты Вильсона считают, что никаких таких генов не существует в природе: запрет на инцест — чисто культурное табу. Люди заметили, что инцест опасен для выживания племени, и оформили свои наблюдения в виде запрета на инцест. Вильсон, однако, обращает внимание на

такой любопытный факт, как отсутствие в израильских кибуцах семей, где муж и жена воспитывались бы в одном и том же кибуцном детсаду. Никто таких браков не запрещал, а между тем на 3000 исследованных случаев они не обнаружены. Вильсон объясняет это действием противоинцестных генов, которые в данном случае как бы "попадают впросак", принимая детей, выросших в одной семье (одном детсаду) за братьев и сестер. Аналогичное явление наблюдается в китайских семьях, которые по традиции удочеряют маленьких девочек в качестве будущих невест для своих сыновей: "женихи", выросшие с этими "невестами" с раннего возраста, как правило, затем отказываются вступать с ними в брак.

Гипотеза Вильсона не утверждает, будто становление культуры жестко запрограммировано генами; она не утверждает также, будто не могут возникнуть культуры, особенности которых противоречат генетическому влиянию. Она говорит лишь, что гены могут создать предрасположенность людей к тому или иному выбору, приводя к тому, что люди начинают предпочитать один тип поведения другому; когда этот выбор закрепляется традицией, мы получаем особенность данной культуры. Таким образом, социальные особенности оказываются связаны с особенностями биологическими. Отсюда название новой науки — социобиология.

Социобиология уже имеет пылких сторонников и яростных противников. Противники заявляют, что она воскрешает печально знаменитую евгенику и расовую теорию. Сторонники предпринимают попытки социобиологического объяснения все новых культурных явлений. Исследование Д. Шефера и Ю. Райзман принадлежит к числу именно таких попыток. Оно ярко иллюстрирует новый подход на интересном для самых широких кругов примере.

До сих пор споры вокруг порнографии концентрировались, главным образом, на вопросах тактики: запрещать или не запрещать? Сторонники запрета указывали на дегуманизирующий, сексуально-агрессивный характер порнографии; их оппоненты говорили, что она играет роль полезного социального клапана, дающего выход взрывчатой энергии. Эти страстные споры подогревались предвзятыми представлениями: феминистки утверждали, что порнография способствует сохранению мужской гегемонии в обществе, тогда как либералы ратовали за свободу выражения, защищая ее от "обскурантизма и мракобесия".

Порнография в ее нынешнем масштабе — явление относительно новое. Конечно, она существовала и в прошлом, но тогда ее распространение ограничивалось, в основном, узким кругом высших и зажиточных слоев. Сегодня она стала предметом массового производства и массового потребления.

Кто же является ее потребителем? Надежные данные такого рода существуют лишь для одного вида порнографии — порно-

графических журналов. Читательская аудитория четырех ведущих американских порножурналов составляет 40 миллионов человек и возрастает на 2,5 процента в год (что выше скорости роста читательской аудитории для обычных журналов). Подавляющее большинство этих читателей — мужчины в возрасте от 18 до 34 лет (для обычных журналов люди этого возраста составляют меньше половины читателей). 80 процентов читателей порнографии — жители больших городов, половина — люди с высшим образованием, 60 процентов женаты. И хотя около 10 миллионов читателей этих журналов — женщины, вполне очевидно, что порнография адресуется, прежде всего, мужской аудитории. Почему?

Многие исследователи выделяли в порнографии элементы, связанные с унижением и мучением женщин. Но эти элементы не являются в ней универсальными и вряд ли именно этим порнография привлекает мужчин. Другие подчеркивали, как главный признак порнографии, намеренное сексуальное возбуждение; но сексуальное возбуждение можно получить, и не затрачивая деньги на порножурналы или порнофильмы. В чем же тут дело?

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем понять, каковы сексуальные особенности мужчины. Или, выражаясь научно, — какова сексуальная стратегия самцов вида *хomo sapiens*?

Надежно известно, что мужчины легче приходят к сексуальному возбуждению, чем женщины. Возможно, это связано с тем, что у них больше потребность в сексуальном разнообразии. Такая потребность полезна для вида в целом: не только возрастают шансы на лучшее потомство (благодаря перемешиванию генов), но возрастают шансы на потомство вообще. А ведь важнейшая биологическая задача вида — это выживание, то есть производство потомства. Вот почему природа дала мужчинам способность производить потомство от любого совокупления с любой женщиной и генетически запрограммировала их так, чтобы они тотчас возбуждались для такого совокупления, как только подвернется подходящая "оказия"

Такова биологическая (генетическая) сторона дела. А как выглядят в разных человеческих коллективах (культурах) реальные отношения между мужчинами и женщинами? В принципе, возможны четыре типа таких отношений полиандрия (многомужество; несколько мужчин обладают одной женщиной); полигиния (многоженство; один мужчина обладает несколькими женщинами постоянно); моногамия (устойчивая парная связь) и промискуитет (беспорядочная связь многих мужчин с многими женщинами, характерная для первобытных племен). Из всех этих типов моногамия наиболее противоречит биологическим особенностям мужчины. если он находится в постоянной связи с одной женщиной, то может рассчитывать только на потомство от нее; поэтому он вынужден компенсировать количественную малочисленность потомства большей заботой о нем, а не о "связях на стороне"; в таком случае, его способность легко возбуждаться

идет вразрез с условиями моногамного брака, она так сказать, "избыточна", "вредна" с точки зрения увековеченного культурной традицией типа семьи.

Любопытно, что у высших животных (приматов) только 18 процентов из всех известных видов практикуют моногамию. А как обстоит дело у человека? Антропологи насчитывают на Земле свыше 800 типов различных культур (то есть групп с различными типами обычаев, поведения и т. д.) Из них всего 16 процентов моногамны. Это почти то же число, что у приматов. Можно думать, что это просто генетически иначе запрограммированные существа. Зато более 80 процентов человеческих коллективов систематически практикуют полигинию<sup>1</sup> Следовательно, полигиния более соответствует генетическим склонностям человека

И тут в игру входит решающее обстоятельство. Действительно, подавляющее большинство культур полигинны. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что почти все они представлены весьма малочисленными группами — какими-нибудь крохотными племенами Новой Гвинеи, Африки или бассейна Амазонки. Верно, число моногамных культур невелико. Но к ним принадлежат самые многочисленные человеческие коллективы — вся Европа, Америка, Индия, Япония, Китай и т. д.! По числу входящих в них людей моногамные культуры составляют подавляющее большинство современного человечества.

Мы приходим к противоречию. По генетическим склонностям мужчина — существо полигинное. Это видно из того, что в примитивных обществах, где культурные ограничения еще не играют особой роли, естественным образом складывается полигинный брак. Но по мере эволюции культуры все больше людей вынуждены ограничиваться моногамией. Мужчины не становятся "психологически моногамными"; их генетический склад, их склонности не меняются. Культура попросту накладывает ограничения на эти склонности. Нынешнего мужчину можно определить как "вынужденного моногама". В зависимости от условий он может вести себя либо моногамно, либо полигинно. Человек — это единственный в природе моногам, чья моногамия сформирована культурой.

Почему же культура навязывает человеку то, что противоречит его природе? Ответ прост — потому что культура это специфически человеческий инструмент выживания вида. Из всех животных только у человека потомство рождается предельно неприспособленным (на первых порах) к жизни и требует предельно долгого периода воспитания. Это происходит потому, что у человека почти нет врожденных инстинктов, которые позволяют, например, котенку стать самостоятельным уже через несколько недель. Зато человек (именно благодаря этому) обладает "незагруженным" мозгом, который способен приспособливаться к

весьма широкому спектру условий, чего не могут животные. За эту гибкость, обеспечивающую выживание вида, ему приходится расплачиваться длительным периодом воспитания, в котором весьма важным является участие обоих родителей. Гарантировать такое участие может лишь моногамия.

Она оказывается "выгоднее" как тип сексуальной стратегии. Это видно хотя бы из того, что именно моногамные общества стали самыми многочисленными и достигли наибольших успехов на пути цивилизации. Но эта эволюция идет в непрерывном конфликте с генетической предрасположенностью самцов вида "хомо сапиенс". Происходит своего рода совместная гено-культурная созволюция, о которой впервые заговорил Вильсон. В моногамных обществах мужчины испытывают дополнительные напряжения. Чтобы справиться с ними, вырабатываются механизмы "подмены", молчаливо принимаемые культурой (ибо они помогают выживанию самцов). Более того, эти механизмы, навязанные генами, постепенно входят в культуру и становятся ее частью — традицией, обычаем и т. п. Примером такой социобиологической культурной традиции является широко распространенная (именно в моногамных обществах) женская проституция (не случайно именуемая "древнейшей профессией")

Итак, полигинные склонности заставляют мужчин искать множества женских партнеров. Это не так легко достижимо — хотя бы в силу примерного численного равенства полов; это также противоречит нормам моногамной культуры; это, наконец, требует согласия женщин, а такое согласие получить нелегко: для женщин было бы катастрофично с готовностью вступать в связь со многими мужчинами, не различая, насколько они способны внести вклад в воспитание потомства. По всему поэтому удовлетворить полигинные наклонности нелегко. И вот тут на первый план выступает порнография.

Теперь мы можем сказать, какую роль порнография играет в обществе. Порнография создает тот мир "полигинной мужской фантазии", в котором всегда есть несчетное число "согласных" женщин, своей обнаженностью и позами "сигнализирующих" мнимую готовность к немедленному сексуальному акту. Понятно, что этот мир молодых, соблазнительных женщин, с готовностью и энтузиазмом участвующих в любом виде сексуальной активности (включая даже насильственную), весьма стлится от реального мира. Но это искупается тем, что порно модели намного "доступнее" реальных женщин; кроме того, их созерцание несколько не ущемляет реальных прав партнерш по браку: порно-героини — это женщины для всех и ничьи в частности. Поэтому порнография формально не противоречит правилам моногамной

культуры. Она не вызывает борьбу за специфическую женщину — ведь массовое производство делает порноменту легкодоступной каждому!

Конечно, все это обман. И наибольшая ложь порнографии заключается в полной противоположности порномоделей и реальных женщин. Сексуальная "стратегия" порномодели сводится к одному-единственному слову: "Отдаться!" Сексуальная стратегия реальной женщины совершенно иная. Как и у всех видов, самки вида "хомо сапиенс" вносят основной вклад в воспитание потомства. Но, как уже было сказано, у "хомо сапиенс" это воспитание особенно тяжело. Может быть, поэтому плодовитость женщин в естественных условиях ограничена четырьмя-пятью детьми. Женщины не выигрывают от ничем неограниченного промискуитета — ведь они не могут воспитать больше детей от многих мужчин, чем от одного. Поэтому женская сексуальная стратегия состоит в поиске одного генетически здорового мужчины, зато готового разделить с ней тяготы воспитания потомства. Такая готовность весьма зависит от уверенности мужчины, что это действительно его потомство; значит, всякое "подозрительное" поведение женщины эту готовность может только уменьшить, а стало быть — и уменьшить ее шансы на потомство. Поэтому женщина стремится быть привлекательной прежде всего для своего избранника, а не для окружающих мужчин.

Неудивительно, что параллельно миру мужской сексуальной фантазии — порнографии — существует и мир женской сексуальной фантазии — "романтическая повесть". В такой повести мужчины всегда преданные рыцари и надежные отцы-моногамы. Таков герой популярной американской телесериала "Маленький домик в прерии", таковы герои массовых женских журналов (десятки миллионов их читательниц в США — зеркальное отражение мужской тяги к порнографии).

Конечно, этот мир тоже искажает реальность, но куда более мягко и "безопасно". Дело даже не в том, что в мире женской сексуальной фантазии нет насилия и садизма. Куда важнее, что порномир в конечном счете порождает у мужчин чувство обманутости, разочарования и раздражения при столкновении с реальностью.

В реальном мире женщины (включая и порномодели) далеко не так привлекательны. Далее, даже при наличии "пилюль", отделяющих секс от воспроизводства вида, большинство женщин не утратили своих генетически врожденных и подкрепленных культурными традициями стратегий: они больше склонны сохранять невинность до брака, а в случае добрачных связей менее склонны часто менять партнеров, чем мужчины. Это подтверждается новейшими социологическими опросами в американских колледжах и университетах. Большинство женщин не склонны ни к сексуальному эксгибиционизму, ни к сексуальным авантюрам.

Мир мужской сексуальной фантазии в его массовой форме

навязывает обществу иные стандарты женского поведения: соблазнительную наготу, расчетливый эксгибиционизм, демонстрацию готовности (и готовность) к немедленному совокуплению с любым мужчиной. Порномир начисто лишен интеллектуального или духовного содержания, поэтому в нем все сводится лишь к степени сексуального возбуждения. Понятно, что в сравнении с ним реальные женщины остаются в проигрыше. Результатом является ослабление брачных связей, разочарование мужчин в своих женщинах и даже — в самих себе. Ведь они тоже не идут в сравнение с героями порнофильмов, этими “всегда готовыми” к совокуплению сексуальными машинами!

Порнография отделяет секс от его основной биологической и социальной функции — воспроизводства. Ее цель — “чистое” сексуальное возбуждение. А что дальше? Повторения вызывают скуку, а репертуар ведь не безграничен — и вот длительная привычка начинает убивать возбуждение, и порнографии приходится искать новизну: оральный секс, анальный секс, лесбийскую и гомосексуальную любовь, групповой секс, наконец — изнасилования, садизм, сексуальные издевательства над детьми. Но психосексуальные механизмы человеческого сознания генетически, эволюционно не рассчитаны на все эти виды сексуального возбуждения, абсолютно не связанные с воспроизводством (и потому обреченные с точки зрения эволюции). Порнография рождает иллюзии, которые не могут быть удовлетворены в реальной жизни, а потому толкает к агрессии — увы, не против ее создателей, а против реальных женщин. В конечном счете, она разрушает основы той самой моногамной культуры, конфликты которой взялась разрешить.

Итак, что же такое современная порнография с точки зрения социобиологии? Это новая, порожденная возможностями современного массового производства и современной технологии, попытка ответа на древний, как мир, вопрос: как насытить полигинного “волка” и уберечь моногамную “овечку”? То, что в прошлом было достоянием лишь высших слоев, сегодня стало массовой возможностью, которая втягивает человека в иллюзорный мир, фальсифицирующий реальность и противоречащий эволюционным механизмам поведения. Возвращение такого человека к реальности порождает разочарование, раздражение и растущую агрессивность, в том числе — и в сексуальном поведении, толкает к попыткам навязать реальности нормы фантастического мира порнографии, что еще дальше уводит от биологической (и социальной) заповеди воспроизводства человеческого рода. Эта заповедь может быть реализована, увы, лишь в постоянном конфликте между генетическими полигинными склонностями муж-

чин и моногамными требованиями женщин. Быть может, технология искусственного воспроизводства "в пробирке" позволит в будущем решить этот конфликт. Но порнография, во всяком случае, его не решает, а напротив — только усиливает. Из всех видов "компенсации" мужской неудовлетворенности в моногамной культуре (проституция, адюльтер и т. п.) порнография — самый, на первый взгляд, "чистый" и "безобидный"; в действительности это самая иллюзорная и потому разрушительная компенсация. Ее социобиологическая угроза столь же несомненна, как и социобиологическая неизбежность ее появления в нашем мире, ориентированном на немедленное технологическое удовлетворение любых потребностей и капризов человека.

## ZESZYTY LITERACKIE

Nr 13 (ZIMA 1986)

**W numerze 13 (ZIMA 1986):** CZESŁAW MIŁOSZ, Z nowych wierszy. **SPOJRZENIA:** ADAM MICHNIK, Czytając. **PROZA I POEZJA:** ALEKSANDER WAT, Z „Dziennika bez samogłosek”; TADEUSZ KORZENIEWSKI, Notatki do powieści „Warszawa-Paryż-Nowy Jork” (I.); JAN SKARBIŃSKI, Powrót flâneura; ADAM ZAGAJEWSKI, Nowe wiersze. **EUROPA ŚRODKA:** VLADIMIR NABOKOV, Tamte brzegi. **LISTY Z PARYŻA:** WOJCIECH KARPIŃSKI, Lustro „Innego świata”. **INTERPRETACJE:** MARYNA CWIETAJEW, Kurtyna, MARINA CWIETAJEW, *Zanawies*; TOMAS VENCLOVA, Maryna Cwietajewa: „Kurtyna”. **O KSIĄŻKACH:** STANISŁAW BARAŃCZAK, Pożegnanie z Białoszewskim; JAN SKÓRZYŃSKI, Punkt widzenia, STEFAN KISIELEWSKI, Cierpliwości i chytryści, także więcej światła (list zamiast recenzji). **NOTATKI. LISTY DO REDAKCJI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH. ZESZYTY LITERACKIE 1985,** Wykaz publikacji.

Numer 13 Zeszytów Literackich ukazał się w styczniu 1986.  
Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTÉRAIRES, 44, rue Tiquetonne  
75002 PARIS)

Cena pojedynczego egzemplarza wraz z przesyłką 50 FF  
(6,50 \$USA); pocztą lotniczą 56 FF (7,5 \$USA).

Prenumerata roczna — 170 FF (22 \$USA); pocztą lotniczą 210 FF  
(27,50 \$USA)



ГОРОДСКИЕ ЧАСТУШКИ

ЭДУАРД БАРК —  
ХУДОЖНИК И ПОЭТ



### З. БАРК. АВТОПОРТРЕТ

---

Одинокий вой машины  
ночь глуха  
одичалый писк мышинный  
мышь глупа  
из нутра пятиэтажки  
рвет гульбой  
на ура платки фуражки  
прут гурьбой  
поперек — фонарь бетонный  
доглядать  
чтоб была  
среди башен сонных  
тишь и гладь

1981—1983, Москва

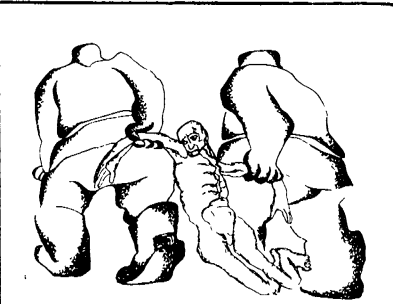
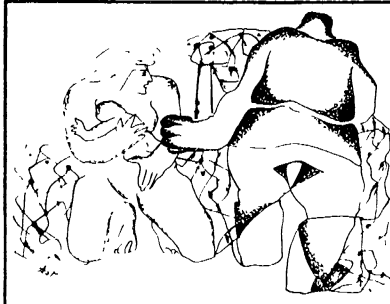
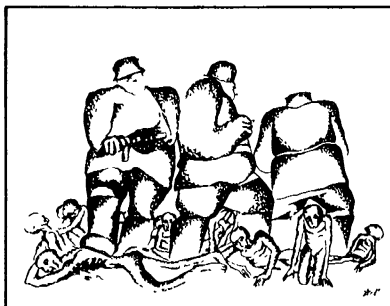
Родился я в центре России, в Смоленске, давно — в 1932 году. После школы поступал “в архитекторы”, но провалился на пятом пункте и попал в строители. Получив диплом инженера-строителя, строил от Казахстана до Украины и Москвы. По случаю — в зрелом возрасте — окончил полиграфический институт, что определило художественную профессию — график, хотя по натуре и призванию люблю работать с красками. Любую серьезную вещь делаю долго: 3—5 лет и более. Через какие формы изображения (абстракция, гиперреализм и проч.) хочешь что-то сообщить — не имеет значения, важно — что хочешь сказать. К сожалению, часто сказать нечего ни в какой форме.

Еще — к сожалению же — события моей жизни и события на холсте увязываются так, что иногда хочется все бросить и зажечь нормальной жизнью.

Может быть, когда-то и удастся.

Иерусалим, 1986

# שדא





**НУЖДА И НАДЕЖДЫ, 1946**

Две краски для холста нужны  
одною цвета "до войны"  
я детства тон составлю верный  
из желтой и голубизны  
другою цвета "после"  
изобразю я фон овзрослив  
обынделевые углы  
той комнаты

где все мы мерзли  
возле буржуйки в угле роясь  
и голодом сводило рты  
и фотографий черный пояс  
след не вернувшихся с войны  
как будто из какой вины  
нас опоясал кровью кроясь

1979, Москва



Филер на лестнице  
 февраль угрюморожий  
 у подъезда  
 доносчик —  
 придверный фонарь  
 доносит  
 что "имеет место"  
 на службу мчит  
 сосед-блатарь  
 день начинается  
 и снова  
 черноотравленную гарь  
 несет на нас  
 с платформ Перова

**ГАЛУТ**

Снег колючекрылый  
 у лица и плеч  
 чтоб сподручней было  
 беглеца стеречь  
 надзирают в оба  
 справа — слева — смерч  
 позабыт в сугробах  
 мой ржавеет меч



## ПЕЙЗАЖИ

Приморожена оттепель  
придорожные  
припорошены автозады  
и предвестьем беды  
накрест брошены  
псов бродячих  
босые следы

В доме  
насквозь промерзшем  
промороженном  
вымерзшем  
через зиму ползу  
жабры тощие  
вытаращив

На скрещенье ветров  
вкопан дом-ветролом  
ветры прут напролом  
рвут оконный засов  
и меж блоков в углу  
я — бессонный  
от настоек багров  
от натуги бугром  
бычит дом-сонолом  
бок бетонный





## У ОКНА

Дневный и вопящий  
ночью город спящий  
под луной слепящий  
тих как пес скулящий  
Спит бетонный ящик  
и я в нем пропащий  
на плите пропащей  
жгу чаи и каши  
в туалет гудящий —  
прегрешенья наши  
и громокипящий

чайник друг скорбящих  
чаевать вчерашних  
сырых и болящих  
ждет гостей лядащих  
и послав подальше  
нетудаводящих  
всех руководящих  
среди стен молчащих  
дуюм чай послаще

1980, Москва



## ПОРТРЕТЫ

Выйду на улицу  
 бельмом  
 фонарь круглится  
 люди — ау вам  
 эхо аукнется  
 в окна белье  
 обмороженно  
 стукнется  
 форточка вздрогнув  
 встревоженно грюкнется  
 в грязном подъезде  
 мятежно аукнется  
 спит с перепоею  
 бетонная улица

Скрипели качели  
 стырчали моторы  
 ковровывиватели  
 хрипли от ссоры  
 и эхо металось  
 меж плавленных башен  
 под маты алкашьи  
 и вопли мамашины



## ДИЕТСТОЛОВАЯ

Спозаранку  
разбегается люд  
туда и сюда  
где на хлеб подадут  
разговоры про пьянку  
мясо и манку  
да про то что сопрут  
туда и сюда

от столба до ворот  
загибает трамвай  
на крутой поворот  
туда и сюда  
дворник двигает сор  
медлительно-скор  
набирает день ход

1981—1983, Москва

Лихой людишко  
с устатку лишку  
перебрал  
в пальтишке рыжем  
на рыбьем смехе  
к подруге, слышь-ка,  
поканал



Апрель кончается  
и май  
зазеленев со всех опушек  
под громы грозобойных  
пушек  
ворвется в выморочный край  
взярит фонарь напружив  
тросы  
река взбурлит кидаясь вспять  
на крышах рать телеукосин  
готова маю присягать



Уж солнца  
не было давно  
сильна  
свинцовой стужи власть  
сорочье кружится перо  
в недвижимом воздухе резвясь  
сизжу угрюмо завторясь  
в домашнем блиндаже и жду  
ужели повернет  
к иной погоде  
ужель дождемся дня такого  
из занебесья возвратясь  
на окнах солнечная вязь  
заблещет снова



ГРАФИКА

Эдуард Кузнецов

## ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРОЙ

(М. Хейфец: "Военнопленный секретарь. Повесть о Паруйре Айриkyане",  
ОПИ, Лондон, 1985)

Что за "секретарь"?

В книге есть такой эпизод. Летом 1976-го года Айриkyан решил сменить тактику — заявить, что он и в самом деле глава НОП. Я случайным образом оказался причастным к этому. "Впервые, — пишет Хейфец, — эта идея возникла у него в саранском следственном изоляторе: ему удалось крикнуть соседу по прогулочной камере Эдуарду Кузнецову: "Я хочу объявить себя секретарем НОП. Как ты смотришь? "Объявляй!" — поддержал Кузнецов.

А теперь о НОП — Национальной Объединенной Партии Армении. Создана она в 1966-м году в Ереване Айканузом Хачатряном, Шагеном Арутюняном и Степаном Затикианом (тем самым, расстрелянным в 79-м году по обвинению во взрыве бомбы в московском метро). В 68-м году, после ареста руководителей НОП, главой организации стал Паруйр Айриkyан — студент ереванского политехнического института, автор патриотических песен. А год спустя схватили и его.

"Военнопленный секретарь" — довольно замысловатое сооружение, выстроенное из элементов различной конфигурации, размеров и консистенции. Разнородные части конструкции спаяны в артистическое единство массой умышленно обнаженных связей по всем уровням и направлениям, стянутых выпуклым узлом на главном персонаже.

"Господа! Имею честь представить вам моего старого друга и вашего нового товарища, руководителя Национальной Объединенной Партии Армении Паруйра Айриkyана.

...Высокий, ослепительно черноглазый, до блеска черноволосый, несмотря на "нолевую" стрижку, красавец с умным веселым лицом.

... "Паруйр! Караул вызвали! Приехало все начальство в штаб. Пять капитанов там сидят!..

Паруйр... вышел из штаба минут через десять, легкой танцующей походкой победителя".

Так описывает Айриkyана "еврей Хейфец, человек Паруйра".

Эк, скажет иной, романтизму-то подпущено. У Достоевского вон даже старец и то смердит...

Это само собой: какой ни будь из ряду вон, а все не без изъяну. Но одно дело роман и другое... ЖЗЛ. К тому же персонаж еще т а м. И в голосах, требующих (даже и с учетом местонахождения персонажа) · "Подавай нам его, героя-то целиком" — отчетливо различимы разные подтексты. Для одних: хоть и смердит, а все-таки герой (святой), а для других (их Гегель

лакеями звал) : какой же он из ряда вон, если смердит, как и мы, грешные? О таких еще Гамлет (в первом варианте пастернаковского перевода) стенал: "И призрачность заслуг в глазах ничтожеств".

Итак, не роман с вымышленными персонажами, а повесть, каждое слово которой будет так и сяк взвешено самым внимательным нашим читателем — КГБ, коллекционирующим и культивирующим изъяны своих подопечных. И... как быть? Поневоле начнешь примерять персонажам обувь, изрядно изношенную уже героями Плутарха и Тацита, а равно возводить на мордовских болотах некий суррогат Рима—Спарты. Не удивлюсь, если возникнет ассоциация "Авторов лагерных биографий" — с уставом, фиксирующим необходимость придерживаться некоего свода правил, условностей, настоятельных рекомендаций и писать под девизом: "Не повредить!" Вот этот девиз и украшает-отягощает стило Хейфеца. Вопрос в том, пострадала ли при этом описываемая реальность и если да, то каковы размеры ущерба, причиненного вторжением под таким девизом в земли, признанные монопольным достоянием записных служителей Клио?

Размеры ущерба незначительны, смею утверждать. Автора спасает смиренный дар профессионального исследователя, чувство меры, диктующее отбор материала и — не в последнюю очередь — интонационное чутье — то, всеми фибрами души, слияние с тайной вибрацией изображаемого объекта, которое не дает сфальшивить, промазать. (Так натяжение тетивы диктует дзэн-будистскому лучнику точный момент выстрела.) Он умеет чередовать немногословную фактографию с потоком так и сяк обоснованных — и все же порой рискованных — гипотез, умеет вовремя связвить, вовремя опечалиться, ироническую стрелу украсить лирическим опереньем; он заваливает вас грудой исторических аргументов, в которой вы покопаетесь не без любопытства, но при этом останетесь при своем мнении, пока вдруг оно не истает от жара какого-то нечаянного словца, вторичного фактика или наблюдения. И чем нечаянней, тем — бывает — точнее. Изобрести метафору и сочинить балаган с переодеванием чертей и чехардой мнимозначительных символов всякий может во времена всеобуча. Труднее даются слова простые и точные. Для этого надо кое-что за душой иметь.

Вообще говоря, для Хейфеца героя удачней, чем Айрикян, нарочно не придумать — ему ведь мало персонажа психологически неординарного, ему подавай человека поступка, да еще при этом эффективного артистического облика, чтобы писать, едва сдерживая восклицание: "Какие бывают люди!"

А Паруйр Айрикян действительно колоритнейшая фигура. И я очень понимаю политзэка Зограбяна, сказавшего: "Второго, как Айрикян, нету... Один у нас такой".

## ИСТОКИ ЖАНРА

(Геула Козн. "Между ночью и днем" /записки подпольщицы/.  
Израиль, 1985 г.)

Восточная мудрость гласит: в жизни человек должен успеть три вещи — родить ребенка, посадить дерево и написать книгу. Трижды создать — и ни разу ничто не разрушить. Вырастут дети. Вырастут и деревья. Но жизнь без любви — одна оболочка. А любовь без чувства корней — поверхностная любовь. И только книга может скрепить эти звенья. Не холодный рассказ с перечислением имен и событий, а горячий, пристрастный, с искрой "от того древнего огня, из которого выплавляется и рождается истинная жизнь", с тем напряжением, что "всегда рождало художника"...

Не часто политический деятель бывает отмечен еще и литературным талантом. Еще реже — готовностью просто и внятно рассказать о себе. Такая позиция скорее присуща поэту, беззаветно влюбленному в свою молодость и наперекор всем ошибкам не устающему повторять, что в главном он все-таки прав! Даже если этой правоте до обидного не хватает логических обоснований. Но логика враждебна поэту. Как враждебен и факт. Потому что поэт всегда прав высшей художественной правдой, то есть всем тем, с чем немислим политик. Противоречие? — Да. Но что поделаешь, таков наш народ. Он хочет быть и тем, и другим сразу. Такова и Геула, автор книги "Между ночью и днем".

С Геулой легко спорить. Ее легко обвинить. Но перед нами не философский трактат. Еще меньше — строгий анализ ушедшей эпохи. Перед нами правдивая повесть о "людях Лехи", с "их элементами фанатизма и религиозного вдохновения", повесть-сопереживание, одухотворенная любовью и верой. И отвергаем мы сегодня позицию автора или так же, как и он, стоим вне круга ликующих в день провозглашения "государства Израиль без Иерусалима, без Хеврона и Бейт-Лехема, без Гилеада и Башана" — в сущности, не так уж и важно. Важно другое. "Священно перо, писавшее эту книгу", — сказал Бен Гурион, а уж его-то никак не отнесешь к друзьям Лехи, и к подобному мнению стоит прислушаться. А от себя добавим, что священно не только перо, но и тоска по гармонии, какой преисполнен автор — тоска трагичная, невоплощенная, жаждущая катарсиса и вечно его не находящая.

Русский вариант книги мог бы быть еще лучше, если б издатели не упустили из виду кое-какие детали. Новый репатриант из СССР, как правило, не большой знаток истории государства Израиль, и небольшое предисловие, где б говорилось, что такое Лехи\*, какое место она занимала в общей расстановке сил, боровшихся с британским мандатом, — было б не лишним. Да и о нынешней Геуле, члене Кнессета от партии "Тхия", тоже не мешало сказать. Не говоря уж о дате написания книги (1962!), а то кто-то может подумать, что книга писалась сейчас — а это смещает акценты. Не красит книгу и обилие

---

\* Лехи — Лохамей херут Исраэль (ивр.) — организация борцов за свободу Израиля.

опечаток, и отсутствие редакторской правки. Как иначе понять такие вот фразы: "возводить курок пистолета", "много месяцев до того, что закончится мировая война", "он был одним из самых выдающихся личностей" и т.п.

Талейран говорил: "Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное". Послушаем его — и сделаем наоборот. Все слабое, что есть в книге, всплывает потом, когда затихает это "первое движение", и оставим эти слабости критикам и политикам. А себе оставим замечательные часы, проведенные за увлекательным чтением. Нет, это не снижение жанра. Это его истоки, в их первобытной нерасчлененности.

Вырастут дети. Вырастут и деревья. И будет между ними любовь. Потому что они будут знать, что не с Луны упали на эту землю. Что есть у них прошлое и история с ее непременными ошибками и откровениями.

*М. Вартбург*

## ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ ГЕННАДИЯ ВАЛЬДБЕРГА

*(Г. Вальдберг. "Рождение шлягера". Тель-Авив, 1985)*

Фантастика весьма скупо представлена в ивритской литературе Израиля, а в русскоязычной — и подавно. Сборник Геннадия Вальдберга — кажется, всего вторая по счету попытка этого жанра, предпринятая автором-иммигрантом. Между тем фантастика — увлекательный и читаемый вид литературы, и его отсутствие в нашем жанровом репертуаре — огорчительно.

Тем более приятно, что новая книга (первая для молодого автора, недавно прибывшего из Союза) сделана профессионально, в лучших традициях научной фантастики, хорошо отработанных лучшими мастерами жанра. Г. Вальдберг любит и умеет строить напряженный, "закрученный" сюжет, создавать иллюзию присутствия в фантастическом мире, насыщать его придуманными, но одновременно — продуманными деталями. В то же время мир его повестей — подлинно фантастичен, и не только за счет этих деталей, но и за счет общей "остраненности" непривычных человеческих отношений, занятий, обычаев, мод и даже словечек. И главной фантастической особенностью этого мира является его необычная для нас "музыка будущего".

Понимать эти слова следует не в переносном, а в самом прямом смысле. Стало уже банальным говорить, что фантасты чаще всего создают свой "завтрашний мир" путем продления и развития тенденций дня сегодняшнего. Г. Вальдберг продлевает и додумывает до конца возможности, уже наметившиеся в современной массовой музыке и приемах ее исполнения. Любителям джаза и рокка наверняка будет интересно заглянуть в диковинную музыкальную кухню молодого фантаста, где певцы способны раздвигать голоса, гитары сращены со скрипками, а весь процесс создания шлягера идет под контролем компьютера. Любителям "просто литературы" описания музыкальных состязаний грядущего будут, наверно, не менее интересны, чем музыкальные страницы аксеновского "Ожога". Стоит еще

отметить, что музыка крайне редко становится объектом фантастических конструкций (в некоторых рассказах Болларда и Биггза-мл.; вот, кажется, и все) — и тут Г. Вальдберг идет непроторенным путем.

В этой небольшой книжке читатель, на первый взгляд, не найдет социальных или философских обобщений. Мир, созданный воображением фантаста и показанный читателю, локален, даже интимен — это среда музыкантов-профессионалов, создателей и исполнителей музыки, и в ее описании едва просвечивают контуры политического или социального устройства общества, в котором они живут. Но это не значит, что книга лишена глубокой и интересной центральной идеи. Она есть и ее наличие выгодно выделяет книгу Г. Вальдберга из потока стандартной бездумной фантастики, заполняющей, скажем, последние советские сборники (впрочем, и западные тоже).

Недавно в одной из своих статей видный математик Мойшезон, говоря о развитии компьютеризации, обратил внимание на любопытную и угрожающую психологическую особенность. "Мышление" компьютеров "линейно", одномерно (ведь, в сущности, это не мышление, а счет, шаг за шагом). И вот, люди, работающие с компьютерами, и сами начинают все больше походить на свои подсобные приборы — начинают мыслить линейно и одномерно, больше доверяя математической логике своей электронной "логарифмической линейки", чем собственной человеческой интуиции. Мошензон показал в своей статье, к каким опасным последствиям это ведет.

По сути, Г. Вальдберг предвосхитил эти научные рассуждения профессора-математика художественным проникновением в творческий процесс — на примере тенденций современной массовой музыки. Вдумываясь в этот процесс, он понял, что создатели музыки, все более срачивающиеся с компьютерами, движутся к утрате "человеческого" музыкального мышления, и утрата эта — необратима. Это весьма небанальная мысль, которая не сводится к плоской "истине" о "конфликте между человеком и машиной". Не конфликт, не "порабощение" человека машиной, а именно их симбиоз — вот что оказывается неожиданно непредсказуемым и опасным в своих последствиях. Повести Г. Вальдберга демонстрируют эти последствия в их крайних, трагических формах.

### **Новые книги**

**Н. и М. УЛАНОВСКИЕ. "ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ". НЬЮ-ЙОРК, ИЗД-ВО ЧАЛИДЗЕ, 451 СТР. ЦЕНА 7 ДОЛЛАРОВ.**

**"ПИСЬМА ЙОНИ (ИОНАТАНА НАТАНИЯГУ, ГЕРОЯ ЭНТЕББЕ)", ПЕР. С ИВРИТА, ИЕРУСАЛИМ, "ТАРБУТ", 301 СТР. ЦЕНА 5 ДОЛЛАРОВ.**

Заказы и чеки присылать по адресу: М. Улановская, Неве Яков, 17, кв. 7, 97350, Иерусалим, Израиль.

## Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки в Израиле, в связи с переходом на новое оформление обложки, — 44,8 новых шекеля (до выхода следующего номера; после этого — в соответствии с новым уровнем цен); за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах.

### Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

### Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst, am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

### Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

## КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера

В январе-марте журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: проф. Аксельрад Е., Мюнхен — 40 долл., Беленкин И., Тверия — 15 шек., Бар-Нави И., Хайфа — 15 шек., Воронель В., США — 25 долл., Гиммельфарб В., США — 25 долл., Гальчинский Б., Кфар-Саба — 20 шек., Гальперин А., Нетания — 2 шек., Голубева И., Холон — 4 шек., Гриб А., Иерусалим — 50 шек., Гурмарник С., США — 25 долл., Коринец Л., США — 10 долл., Кербель А., Хайфа — 10 шек., Михникова Н., США — 10 долл., Подлубный Я., США — 20 долл., Пан Лидия, США — 24 долл., Пархомовский Н., США — 10 долл., Тумаркина И., США — 25 долл., Тарлей К., США — 20 долл., Утевский Л., Беер-Шева — 5 шек., Шифман С., Хайфа — 15 шек., Шапиро Г., Герцлия — 5 шек., Сехтман М., Беер-Шева — 10 шек., Штейнберг М., Кармиель — 5 шек., Шапиро В., Кирьят-Ям — 5,2 шек.

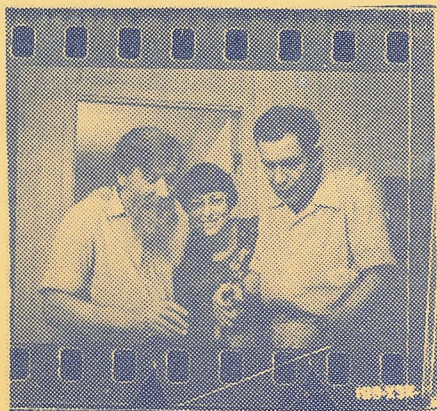
Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии

"ЯКОВ ПРЕСС"

ул. Рош-Пина, 22

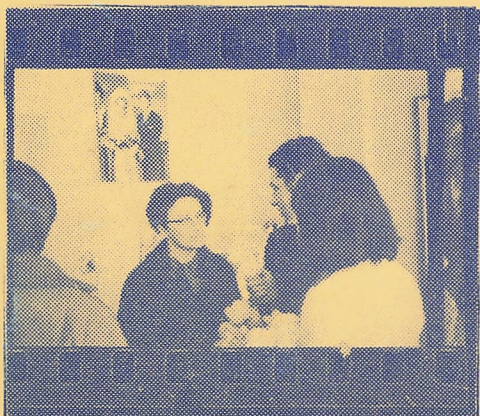
Тель-Авив



**АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ**

**НИНА ВОРОНЕЛЬ**

**ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ**



**МАРЬЯ СИНЯВСКАЯ И АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ**

**ЛАРИСА БОГОРАЗ  
И ЕЕ ОТЕЦ  
ИОСИФ БОГОРАЗ**



**(К ВОСПОМИНАНИЯМ  
О ПРОЦЕССЕ  
СИНЯВСКОГО-ДАНИЭЛЯ)**